

ВЛАДИМИР
КУРОПАТОВ



ИМЯ ОТЧЕЕ



ВЛАДИМИР
КУРОПАТОВ



ИМЯ ОТЧЕЕ

ПОВЕСТЬ

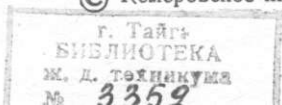
Кемеровское
книжное
издательство
1982

P2
K93

Рецензенты
А. Н. Срывцев, Г. А. Емельянов

К $\frac{70302-34}{M145(03)-82}$ 18-82-4702010200

© Кемеровское книжное издательство, 1982



ПЕРЕД ДОРОГОЙ

К знакомым людям мы обращаемся по имени. Или по имени-отчеству. Или только по отчеству. Бывает, по фамилии. А к незнакомым чаще всего — «товарищ», «гражданин», «друг», «дядя». Есть еще множество других, самых разных обращений. Но из всех них особо приятно моему слуху обращение «отец», какое едва ли есть еще в каком-нибудь языке какого-нибудь народа.

— Здравствуй, отец, — говорим мы человеку, который кому-то, возможно, и отец, а нам просто пожилой мужчина.

Но в том-то и заключена большая и вечная логика жизни. Кто старше, многоопытнее, мудрее — тот нам и отец. Я бы даже сказал: Жизненный Опыт — это и есть бессмертный Отец человечества. Опыт драгоценными зернами рассредоточен во множестве смертных человеческих отцов, а в этих зернах — жизнестойкость и крепость, необходимые сынам.

— Здравствуй, отец...

Емкое и обаятельное обращение. В нем — не только признание жизненного опыта, но и доверительность, и почтение, и ласка. Да как же не быть в нем ласки, когда слово «отец» есть не что иное, как ласкательно-уменьшительная форма древнейшего, никому теперь уже неведомого слова, обозначавшего «родитель».

... — Здравствуй и ты, сынок!

— Подскажи, куда эта дорога, отец.

— К людям. Разве ты не знаешь?

— Я — серьезно.

— А я, по-твоему, смеюсь? В Семеновке, куда тебе надо, как и в нашей деревне, тоже люди.

— Вот к ним и пойду. И перво-наперво скажу, что встретил на пути тебя, веселого лукавого отца.

— Нет, перво-наперво ты не это скажешь.

— Честно.

— Как добрый человек, ты сначала скажешь людям: «Здравствуйте».

— Верно. А потом про тебя.

— Нет. Лучше расскажи про своего отца. Ты его дольше, а значит и лучше знаешь. А расскажешь про него — получится, что рассказал и про меня: в главном все отцы одинаковы.

— Ты прав. Спасибо тебе, отец.

— Тогда в счастливый путь, сынок...

Глава 1

ВЕХИ

На выезде из Качир, районного центра, неуклюжий «Икарус» свернул с главной магистрали и покатил по дороге, бегущей на восток. Иртыш, серебристые тополя по берегам реки, сопутствовавшие нам от самого Павлодара, остались позади, и теперь во все стороны расстилалось равнинное степное однообразие, которому, казалось, не будет конца.

Сестра моя, Татьяна Федоровна, в начале пути была возбужденная, неугомонно-речистая. Но чем дальше, тем больше иссякала ее словоохотливость, тем рыхлее, сонливее делалось ее лицо, безвольнее взор отяжелевших глаз. И вот, разморенная духотой, убаюканная монотонным рокотом мотора, она задремала, откинув голову на спинку кресла. Нет, видно, в ее годы — седьмой десяток на исхо-

де — и при ее тучности уже такие, сравнительно близкие и легкие путешествия — предприятия обременительные.

Непривычно моему глазу: куда ни глянь — степь, степь и степь. Громадная, спаленная солнцем, унылая. И на душе моей сделалось тоже уныло. И беспокойно отчего-то сделалось. Будто степь эта, которую вижу впервые, мне уже знакома, и ждет от меня какого-то слова, может, слова приветствия. Неужели зов?..

Мои родители и прародители были степняками. Если поехать в противоположную сторону, на запад, то казахские степи сменяются оренбургскими, за ними пойдут приволжские, потом калмыцкие и, наконец, украинские. Вообще-то — это одна степь, только в разных местах она называется по-разному.

Лет десять назад, осенью, я летел из Москвы в Одессу. Самолет вынужденно — из-за метеоусловий — приземлился в Днепропетровске. Все пассажиры, разумеется, огорчились и расстроились, один я обрадовался. Стоял в стороне от летного поля и гадал: где? в какой стороне? как называлась в бывшей Екатеринославской губернии та деревенька, из которой в конце прошлого века родители увезли в Казахстан мою мать, тогда еще восьмилетнюю девочку? Гадал, а на душе тоже было сладко-грустно и беспокойно...

А иногда вдруг живо встает перед глазами большое поволжское село, и хотя я не был в нем никогда, знаю там каждую улочку, каждую избу... знаю его далекое прошлое. И тревожат мою грудь желанная боль, грусть и беспокойство...

В Астраханской губернии случился страшный недород. И пошли вверх по матушке Волге ходоки — мужички потрезвее, пооборотистее да посмышленнее. Брели от села к селу, собирали скудное крестьянское подаяние. Двое забрели в большое село под ветлами. Обнажили головы перед народом.

— Православные! Не по своей воле, лютый мор гонит...
Пособите, а господь воздаст вам за милосердие...

Люди переминались с ноги на ногу, почесывали за ухом, с сопеньем и тяжкими вздохами разворачивали тряпичицы, крестясь, отдавали дорожкам скупую мелкую денгу:

— Господь свидетель — не лишнее.

— Не обессудьте. И помощи вам бог...

Все это был бедный, тщедушный люд.

А богачи, те стабунились в сторонке, потеревливали бороды да помалкивали. Сытость и скупость не пускали их руки в карманы.

Вместе со всеми пришла на сходку и Алексашка — девочка-сирота. Была она калекой от рождения: одна ножка здоровая, другая сухая, как щепочка. Сердобольные сельчане собрались и купили на ярмарке Алексашке костыли. Девочка ковыляла на костылях по селу, всех встречных одаривала благодарной улыбкой и говорила «здравствуйте»...

Кто сам испытал горе, тот близко к сердцу принимает и беды других.

«Как мне помочь этим людям? — думает Алексашка. — У меня же совсем ничего нет».

И тут она услышала голос:

— У тебя есть костыли. Отдай их, — это ей сказала ее сердце.

Алексашка испуганно востепенулась.

— А как я буду без них? Моя жизнь снова делается горемычной.

А голос сердца:

— Не жалея. А радости твоей не убавится.

Голос был тихий, но такой силы, что Алексашка не могла противиться ему и протянула дорожкам свои костыли:

— Они еще новые... — и сморгнула слезу.

— А как же ты, добрая девочка?.. — сказали дорожки и не приняли костылей.

Многие сельчане утирали глаза.

Совестно стало богатым скаредам, и стали они заворачивать полы армяков...

Ходоки пошли дальше, по другим градам и весям, и понесли они добрую славу об Алексашке. А добрая слава — долгая. С тех пор то село под ветлами так и стали называть—Алексашкино...

Никто не знает, когда это было, как никто точно не скажет, было ли такое вообще, но село Алексашкино в Питерском районе Саратовской области (когда-то Самарской губернии) есть и поныне.

Алексашкино — родина моего отца. И деда. И прадеда...

Когда рассказывают семейные предания, то почти непременно упомянут и о прародителе, богатыре, который по стольку-то пудов на плечо принимал, ломы через колени гнул, медведя одним ударом дубиной укладывал, малость поднатужившись, паровоз с места сталкивал и совершал прочие геракловские подвиги. Вот и мой прадед Максим силы, говорят, был недюжинной.

В молодости прадед Максим возил на верблюде по довольно странной кличке Сковородник воду на барский двор. Как-то по осенней грязи не может Сковородник вытащить телегу с бочкой на пригорок. Максим его и так и сяк понукает — не берет. Ясное дело, рассерчал водовоз да и пхнул верблюда кулаком в пах. Вроде бы легонько пхнул, а Сковородник возьми да и упади. Упал и дух испустил. Выпряг прадед Максим Сковородника, оттащил в сторону, чтобы не мешал, впрягся в оглобли сам... «Куда бы там верблюду. Сам насилиу вытащил». Вытащить-то вытащил, а верблюда—нет. Отдал барин Максима в рекруты.

Опять же по семейному преданию, прадед мой был личным телохранителем царя Николая I. Через двадцать пять лет вернулся в Алексашкино к делам извечно крестьянским — пахать землю и растить ребятешек. Выра-

стил он две дочери и пять сыновей, в том числе и моего деда Петра Максимовича.

Первое марта 1887 года — день для России памятный: Александр Ульянов покушался на жизнь царя Александра III. И по интересному — не для всех, а для меня — совпадению, в тот же самый день в селе Алексашкине произошло событие совсем обыденное и заурядное, запечатленное батюшкой в окладной книге: у Петра сына Максимова Куропатова родился младенец мужского пола, нареченный... Тут батюшка укрылся в алтаре, заглянул в святцы, попутно опрокинул уже не первую стопку, вышел и сообщил весть: «Все, нетуть больше бога — только что помер». Старушка одна заплакала и, перекрестившись, сказала что-то вроде: «Неужли? Ах, болезнай... А отпевать-то господа не ты ль, отец, будешь?» Удовлетворенный собой батюшка криво ухмыльнулся в бороду, ткнул пальцем в старушку: «Во! — качнулся, икнул. — Нарекаю младенца Федором. Что означает: дар божий!» — многозначительно вскинул палец вверх.

Дед мой, Петр Максимович, овдовел, оставшись с пятью ребятишками. Женился второй раз. На вдове, такой же многодетной, как и сам. Бывало, зимними вечерами кума Ульяна приходила к Куропатовым за своими заигравшимися ребятишками:

— Где-ка тут мои?

— Погоди, отсчитаю двенадцать своих. Которые лишние будут — забирай, — говорила мачеха моего отца.

Похоже, была она чуточку простовата, но и с чисто крестьянской шельмоватинкой. Славилась в селе искусной вязальщицей. Вязала и для господ. Относя барыне рукоделье, непременно брала с собой всю дюжину ребятишек: бывало, барчата давали какое-нибудь угощение, так чтоб все двенадцать полакомились.

Выкладывала перед барыней чулки, носки, варежки, шапочки, спрашивала:

— Глянется, али не так, можа?

— Так, так, Сколько тебе?

— А сколя дашь... сколя, говорю, не жалко...

Барыня запускала руку в матерчатый кошель и сыпала в подол рукодельницы горсть медяков.

— Хватит?

— Можя, хватя, а не жалко — так, ради господя, и еще.

Усмехнувшись, барыня зачерпывала другую, уже не столь тугую горсть меди.

— Теперь-то, поди, хватит?

— Можя, хватя, а не жалко — так и еще.

Барыня прибавляла две-три монеты.

— Все. Хватит.

— Можя, хватя, а не жалко — так и еще.

— Заладила одно. Да куда же еще-то? Я тебе и так лишку дала.

— А не зазря, матушка, дала-то, не зазря, говорю. Я ж тебе еще вязать стану.

— Во, во. В другой-то раз я тебе чем платить стану? Надо ж и на другой раз оставить.

— Я ж-то, матушка, на другой раз вязанье, поди, не приберегаю. Все выложила.

— Ну на вот тебе еще копейку и ступай.

— Можя...

— Хватит, хватит! Ступай...

Отец прошел всего четыре куцых, как он говорил, группы церковно-приходской школы. С благовещения шел в подпаски. За три рубля деньгами и два пуда проса в конце сезона. С покрова — в школу. За неделю догонял, а еще через неделю оставлял позади себя всех, даже лучших учеников.

Учитель — чахоточный и горький пьяница — был своеправен. Не вызубрил урок, набедокурил чего — ступай, неси палку и готовь спину. По уверениям отца, учитель ни разу его не наказывал. А вот в пример другим ставил.

— Тщедушный,— говорил,— но не глуп, сволочь, умом и мудр сердцем. Стараться будешь — выйдешь в люди.

— Э-э-э, если б мне нынешнее время,— бывало, сетовал отец.— Да я бы сейчас рядом со Сталиным сидел. Да, видно, не судьба.

На стыке прошлого и нынешнего веков, когда железная дорога протянулась за Урал, малоземелье погнало крестьян европейских губерний в Сибирь, Казахстан, на Алтай.

Подвыпив, самарские мужики кляли «энту жись» и горячо, с пылом решали:

— Хватя! По горлышко сыты! Завтра жа поедем! Туды!..

Слово «Сибирь» побаивались произносить вслух, хотя тайно верили, что там — золотое дно. Протрезвившись, о вчерашнем решении забывали. Уезжали на вольные земли немногие: «Богатым туда незачем, бедным — не на что». В самом деле, как было стронуться с места Петру Максимовичу, когда у него двенадцать — и все мал мала меньше. Брату, Сергею Максимовичу, было сподручнее: у него жена да почти взрослая дочь. Он поехал. И взял с собой двенадцатилетнего племянника Федю.

— Береги парнишку,— наказал Петр Максимович брату и, навалившись на ворота, заплакал. Будто чувствовал, что не доведется больше свидеться с сыном. В двадцать первом году дед мой, Петр Максимович, умер от голода в селе Алексашкине.

Степной край, Павлодарский уезд, Качирская волость, село...

— Скоро Ивановка,— сказала Татьяна Федоровна. Она уже очнулась и была взволнованно-растерянной, как человек, который приготовился испытать нечто желанное, но вместе с тем и пугающее.

Кругом расстилалась все та же широкая степь, разрезанная черной лентой дороги. Там, где асфальт, постепенно сужаясь, истаявал и растворялся в желто-серой дали, чуть заметно маячили верхушки деревьев. Это, должно быть, и была Ивановка.

Пехаревы были хозяева богатые. В степи гуляли несчитанные табуны лошадей, отары овец. Держали крупный — на тридцать рабочих — кожевенный завод. К своим двадцати четырем годам отец постиг на пехаревском заводе два ремесла: кожевенное и шорное. Так что мог считать исполненным завет своего отца Петра Максимовича:

— Женись, когда научишься кормить жену и детей. А раньше... Неровен час, погубитесь, если женишься раньше...

...В условленный с Харитиной день Федор заслал на хутор к Дубовым — две версты от Ивановки — сватов.

Сам Дубовый, крепкий хозяин, крутонравый старик Грицко, сразу же отрезал:

— За Хвэдора? За того безбатчину, за босяка? Ни, не пидэ! Не витдам! О цэ й всэ! — звучно высморкался в цветастый платок и ушел в горницу.

Одна из старших сестер напомнила Харитине:

— Сам в людях и тебя в люди поведет.

— И пойду, — гордо сказала Харитина.

— К Пехарям?! — всплеснула руками сестра. — Поны мыть, батрачкой?!

— Пойду.

— С ума сошла. Он же босяк! И ты будешь босячкой. И твои дети.

— А я его люблю.

— Ой, лишенько. Да он же, говорю, босяк. Как тато говорит? Нэ сядэ на брчку, а навстойку йидэ, плеткою машэ та ще й свыстыть. Разве не босяк, не голодранец?

Выглянул старик Грицко:

— Я ж вжэ сказав: за безбатчину Хвэдора не витдам Харытыну. Ходить до дому. Всэ!

Вернулись сваты ни с чем.

А через несколько дней...

Когда отец рассказывал историю своей женитьбы, я не то что не верил ему, а мне всякий раз казалось, что это он не о себе, а о ком-то другом. Ведь я знал отца только в пожилом и преклонном возрасте, когда он, уже все поиспытавший, был рассудительно-осмотрительным, когда в нем не было уже черт, присущих лишь одной молодости. Вот почему мне трудно было представить отца в таком дерзком и рискованном предприятии...

Смеркалось. Сестры Дубовые и невестки рукодельничали перед вечерним чаем. Харитина сидела у самого окна и прислушивалась. Когда пальцы черной от краски руки легонько побарабанили по стеклу, Харитина, хоть и ждала этого, вздрогнула и затрепетала.

— Что это там? — спросили сестры.

— Птичка, — нашлась Харитина.

Одна из невесток прыснула:

— Это она тебе цидульку от Федора принесла...

Все, кроме Харитины, засмеялись.

Вошла мать.

— Девки, идемте чай пить.

Все пошли в летнюю кухню.

В спешке, обжигая дрожащие от волнения губы, Харитина выпила чашку чая, поблагодарила родителей и ушла в дом. Торопливо собрала платки, платье, юбки, спидницы, связала в узел и побежала к воротам.

Запряженные кони стояли в яме для выделки самана. Харитина добежала до края ямы, голова ее закружилась, ослабевшие вдруг руки выпустили узел, он упал прямо на телегу, а невеста — на руки жениха.

Лихие пехаревские кони взяли с места в карьер. Федор обернулся на хутор Дубовых, передразнил старика Грицко:

— О цэ, кажу, й всэ!..

Вихрем пронеслись по Ивановке. Вечорка за околицей была в полном разгаре, и на скачущую тройку мало кто обратил внимание. Стоявший возле самой дороги Антон Чернухин, когда кони поравнялись с ним, чуть приподнял картуз и полез в карман за кисетом.

После чаепития старшая сестра вошла в сени, подняла с полу белую косынку, порассматривала ее, встрепелась от осенившей ее догадки. Позвала громко:

— Харитина!

Ей никто не ответил. Побежала назад в кухню.

— Тато! Тато! Федор-босяк Харитину украл! Вот!—показала косынку.

— Ехвым! — кликнул старик сына.— На коня и в погоню!

Жених и невеста тем временем подъезжали к Федоровке. Там, в соборе, их поджидали друзья и священник, готовый к свершению обряда венчания.

Коней у отца сразу же, как только приехали в Федоровку, перенял мальчик-казашонок и погнал обратно в Ивановку. А молодые прямо из-под венца поехали в казахский аул, где у жениха было много хороших знакомых. Неделю гостили в юрте Икута Алдыбаева. Надеялись, что за это время старый Грицко отойдет душой, отмякнет, смирится с тем, что случилось и чего уже не вернешь, и даст зятю и дочери родительское благословение.

Надежды Федора и Харитины не оправдались. Еще только подъезжали к хутору, старик Дубовый выслал на встречу работника.

— Сказал, чтоб поворачивали назад, а то Ефим постреляет обоих. И босяка, и дочку. Так и сказал.

Так же было и во второй раз, и в третий... Шесть раз молодые приходили за благословением, но Дубовый был непреклонен.

От Ивановки до Воскресенки верст десять. Приехали на телеге, выпрягли коня и принялись на краю села строить хату. Выкопали в полроста яму, на края поставили оконные рамы, обложили дерном, дерновой сделали и крышу. В земляной пол Федор вбил березовые рогульки, на рогульки положил поперечины, на них жердушки, бросил охапку соломы, раскатал кошму.

— Все как у людей, Харитина, — засмеялся Федор...

Федор воевал на германском фронте, когда Харитина ни с того ни с сего стала прихрамывать на левую ногу. Четырехлетняя дочь Таня и десятимесячный сын Шура переболели оспой. Шура ослеп. Харитина прихрамывала все больше, потом слегла. Знающие люди сказали: туберкулез кости.

Только тогда приехал на подводе брат Ефим.

— Мать плачет... Поедем...

И увез всех троих в родительский дом.

...Умер Шура зимой. Харитина, не поднимаясь с постели, сшила ему штанишки и белую рубашку. Сама обрядила сына. Когда поднесли к ней гроб для прощания, долго, без слез — от болезни и горя она не могла даже плакать — смотрела на лицо Шуры, перекрестила, сказала в задумчивой скорби:

— Иди, сынок, и жди меня. Скоро я, совсем уж скоро...

Она видела в окошко, как поставили гроб в сани, как рядом с ним усадили закутанную в шаль Таню, как Ефим взял вожжи, как сгорбившаяся мать шла по санному следу и то и дело оступалась и проваливалась в снег... Она не могла больше смотреть: солнце жгло глаза, в тот день оно было уже не по-зимнему яркое и горячее...

— Прибери меня, господи,— просила Харитина и знала, что в доме хотят и ждут того же все. Кроме матери. Харитина часто слышала, как она плачет за печкой, а потом ласкает и жалеет Таню.

Однажды Ефим приехал из Качир с вестью: царя скинули. И ходят разговоры, что войне конец и солдат распустят по домам.

«Федора напоследок увидеть бы»,— подумала Харитина. Подозвала к себе Таню:

— Большая ты уже... Скоро папка приедет...

По стеклу что-то легонько стукнуло. Таня вздрогнула, испуганно уставилась на окно: что это?

Харитина знала, что это было, и тоже чуть вздрогнула, а в уголках ее сухих онемевших губ показалась улыбка. В последние дни она часто слышала этот звук. Ждала его. Ей нравилось: услышать — вздрогнуть и вспомнить тот вечер, когда Федор постучал в это же самое окно черными от краски пальцами, и она, хотя и ждала, вздрогнула и затрепетала.

— Мам, кто это? — Таня не догадалась, что это весна стукнула в окошко подтаявшей сосулькой, мол, иду, люди! Таня не догадалась, а мать уже не могла ей объяснить. Матери у нее уже не было.

Таня то и дело похвалялась:

— Скоро мой папа приедет. Он мне гостинец привезет.

— Папа — это хлеб,— сердились тетки и поучали:—
Говори: тато.

— Нет, папа,— стояла на своем Таня.

— Тогда мы съедим твоего папу.

— Не съедите. Он с ружьем...

Отец приехал перед посевной. Завидев его, Таня выбежала навстречу, раскинув руки. Отец подхватил ее, расцеловал, повесил через плечо дочери новые желтые ботинки.

— Гостинец тебе,— прижал Таню к небритой щеке и горько заплакал...

А неподалеку остановились и удивленно смотрели на двух людей корова, лошадь и пара овец. Это старый Грицко по-своему обрадовался приезду зятя-босяка.

— Хватэ. Покормыв я вас, попоив. Ходить тэпэрь-ка до своего господаря и з ным — хочь куда.— Прогнал со двора скотину, плотно закрыл ворота и ушел в дом. До последнего остался верен себе Дубовый...

Несколько жилых домов, магазин, столовая, почта, поставленные полукружием, образовывали сельскую площадь. От нее в разные стороны отходили прямые улицы. Антенны на шиферных и железных крышах, цветы в палисадниках, деревья вдоль улиц, водопроводные колонки, грузовики, поднимающие пыль... Словом, все современно, все, как теперь в любом селе.

— Что-то все не так...— сказала Татьяна Федоровна. Она и теперь была в растерянности. Но это была уже другая растерянность: человек с нетерпением ждал прихода пассажирского поезда, из которого должен выйти кто-то дорогой и близкий, а из-за поворота вылетел и на всех парах прогромыхал мимо товарняк. Сестра обратилась к водителю, осматривавшему баллоны:

— Какой это поселок?

— Я же объявлял: Ивановка. Заходите, отправляемся...

Татьяна Федоровна всматривалась в последние мелькавшие за окном дома.

— Это сколько же я тут не была?.. Сорок шесть лет. Господи, сорок шесть! Конечно, все переменялось. Столько воды утекло,— причитала сестра.

Дорога пошла чуть под уклон. Впереди, по серой, почти белесой степи плыли редкие пышно-зеленые облака.

Перед нашей поездкой Татьяна Федоровна рассказывала:

— В Воскресенке у нас хорошо: кругом березовые колки. И земля черная...

С дочерью и со скотом отец пришел в Воскресенку. Вот по этой самой дороге.

В землянке жили чужие люди — постояльцы. Так просто не выселишь. Да и какой смысл? Отца отпустили только на побывку, куда-то определить дочь да как-то распорядиться хозяйством.

В небольшом соседнем селе Барсуке жил Мельник, родич Дубовых. Дальний родич, и нрава уже совсем другого. Принял отца, проникся сочувствием и был согласен, чтобы Таня пожила у него, пока отец воюет.

— Но жизнь-то, Федор, все равно надо устраивать. Не будешь же век вдовым.

— Об этом после войны. А сейчас наши жены — пушки заряжены.

— А у меня, — Мельник лукаво прищурился, — невеста есть на примете. Такая гарная девка. Проворная, работающая. А?.. Дочка Родиона Марухина. Я сейчас гукну ее...

Горпина вошла в хату, будто ветер влетел.

— Здравствуйте, дядько! — И, не дожидаясь ответа, не заметив в горнице гостя, кинулась к печке: — Боже мой! Да у вас же борщ сбегает!..

— Жинка коров доит, а мы забалакались.

— Говорите, чего звали, а то мне некогда. — Горпина прошла в горницу, увидела солдата, от неожиданности ойкнула, щеки вспыхнули. — Здравствуйте вам, — и про себя отметила, что кудри у солдата, как у того парубка, что когда-то — Горпина еще почти девчонкой была — к отцу за кожами приезжал. В картузе был, а темно-русые кучери из-под него как клубы дыма... Ой, да это ж и есть тот парубок!.. Лицо чистое, белое...

— Жинка говорит, машина нитки стала путать. А ну, глянь, Горпина.

Машинка строчила ровно и легко. Горпина покраснела еще больше. Подосвиданькалась, уже в дверях сказала:

— Приходите до батька табак нюхать...

— Ой, проворная дивчина. Ну, Федор, пойдём до Родиона? Табак нюхать?

— Можно, — согласился отец...

На другой день обвенчались, в том же Федоровском соборе. На третий — отец уехал на фронт. А Горпина стала сразу и женой, и мачехой, и солдаткой.

Так неожиданно-негаданно соединились судьбы моего отца и моей матери.

Как и Ивановки, прежней Воскресенки теперь уже, можно сказать, нет. Есть посёлок Плодородный, где тоже все современно: двух-трехэтажные дома из силикатного кирпича, коттеджи, бетонированные тротуары, водонапорная башня... Лишь с восточного края притулились сиротливо к поселку десятка полтора-два убогих мазанок в окружении унылых саманных развалин. Это и все, что осталось от некогда большой Воскресенки.

Татьяна Федоровна долго ходила от мазанки к мазанке, останавливалась перед каждой, осматривалась, что-то прикидывала на глаз, подходила к развалинам. То и дело повторяла с грустью и все усиливающейся безнадежностью:

— Нет нашей хаты... Конечно, столько лет...

И вдруг:

— Да вот же она!..

Году в двадцать пятом на месте землянки, которую построили с Харитиной, отец поставил новую саманную хату: кухня и горница, пять окон, высокий потолок, высокая крыша, палисадник с березками, вокруг усадьбы тополя. Не было теперь ни тополей, ни берез, ни соломенной крыши... Теперь на крыше плоской, дерновой буйствует по-

лынь. Подоконники осели до самой земли. Все приметы говорят, что до последнего времени в хате жили и, как бы сознавая свою нужность людям, она изо всех силенок крепилась, держалась, а потом начала умирать: на земляном полу закопченные, резко пахнущие сажей кирпичи от полуразвалившейся печки, куски осыпавшейся штукатурки, саманные блоки, целые и поколовшиеся, оконных рам нет, потолочная матка прогнулась коромыслом. Казалось, хата замедлила свой последний вздох лишь для того, чтобы мы могли ее осмотреть. Уйдем мы, и она со стоном и скрипом рухнет. И век ее, на котором она повидала всякого, кончится.

Татьяна Федоровна, непривычно тихая, задумчивая, несколько раз обошла хату, в недоумении остановилась посреди горницы.

— Какая-то маленькая. Тогда вроде больше была, — засмеялась тихо и грустно. — И как мы — такая семья — жили в ней?.. Вот здесь, возле окна стол стоял. Круглый, помню, с точеными ножками, цветастой скатертью накрытый. На столе — самовар. С утра до ночи шумел. Папа четыре раза в день чай пил, по восемь стаканов за раз. Признавал только кирпичный, «кирпишный», говорил он, тысячную и пятьдесят вторую марки. За каждым стаканом по самокрутке выкуривал... Здесь отца с матерью койка стояла, здесь моя, когда я больш́ей стала. Лягу спать, — головой к стене, ногами сюда, к печке, — а в степи волки воют. Другой раз совсем близко, хата ведь наша крайняя. Я боюсь: прогрызут волки дырку в стене и съедят меня. Возьму и лягу ногами к стене, мол, пока волк ногу будет грызть, я успею папу кликнуть... А печка не та, у нас большая была. Сколько нас было у отца-матери — все помещались, еще и для деда Бессараба места хватало, когда он к нам приходил. Бывало, мать утром хлеб печет, а мы сверху головы посклоняли, ждем, когда даст нам по кусочку свеженького. К праздникам сдобное стряпала. На пасху испечет сайки, бублики, шанежки, а

попробовать, как тесто удалось, нельзя — грех: еще ж пост, завтра только пасха. Так она мне даст — Шурка, Колька, Петька, Манька, Винька, те еще маленькие, что они понимают в тесте. «Покуштуй, Танька, не пересолено?» Я съем, мать спрашивает: «Ну, какое оно?» Говорю: «Дайте еще, не распробовала». Она еще даст. А я еще «не распробую». И в третий раз. Тогда она сама. «Да никому, Танька, не говори — грех...» Веселое вот пришло на ум. А было всякое...

Шел год девятнадцатый. Колчаковцы врывались в села, на хутора и отнимали у мужиков лошадей.

У отца было два коня — Воронко и клешеногий Сивка. За Сивку отец не переживал, его и наваливать будешь, так не возьмут — клешеногий. А вот Воронка, если что — не отстоять: хороший конь, молодой, горячий. Не дожидаясь, когда пожалуют непрошенные гости, отец отвел Воронка в дальний угол навеса, навалил полные ясли сена, поставил бочку, налил до краев воды и наглухо заложил коня колотыми дровами и кизяком.

Явились трое. Офицер и два солдата.

— Кони есть?

— А как же. В крестьянстве без коня — никак.

— Веди, показывай.

Только глянули на копыта Сивки — забраковали.

— Где другой?

— Другого нет.

Поверили вроде. Уже со двора пошли было. И надо же, — соскучился по воле и хозяину, что ли, — заржал Воронко. Один солдат — рябоватый, востроглазый — оглянулся на Сивку, потом недобро покосился на отца. У того внутри захолонуло, однако виду старался не подавать. Рябой, хотевший что-то сказать, заколебался, опять оглянулся на Сивку, который смиренно и отрешенно от всего жевал сено.

— Ваше блародие,— решительно сказал рябой,— а ведь не ён это.

— Что? — не понял офицер.

— Ржет-то. Не клешеногий, говорю.

Офицер не спеша расстегнул кобуру.

— Где другой конь?

Обомлевшая от страха мать с младенцем Шуркой на руках стояла на пороге хаты. Таня обеими руками вцепилась в юбку матери:

— Федор! Они ж тебя убьют!..

Слова матери отец расценил как просьбу: «Отдай, не связывайся!»

— Ищите,— спокойно сказал отец.— Но без толку: другого коня у меня нет,— последние слова, произнесенные с крутой твердостью, были ответом и на материны слова.

Солдаты и офицер обшарили все закутки. Рябой, тот даже на горище заглянул.

Отец просил про себя:

«Стой смирно, Воронко. Не погуби...»

Поленица дров ни у кого из троих не вызвала подозрений.

— Антиресно, едрит твою в лапоть,— изумлялся рябой.— Да не может быть. Что я... Чудной твой клешеногий, выходит.

Отец пожал плечами.

— Он всегда такой.

Раздосадованный бесплодными поисками офицер накричал на солдата:

— Болван! Перехлебал вчера, вот и блазнится.— И к отцу: — Опохмелиться есть?

— Непьющий,— сухо ответил отец.

— Все вы трезвенники... Пошли,— приказал солдатам, отстранил мать и первым вошел в хату.

Перевернули все вверх дном. Выпивки не нашли. Офицера это совсем рассердило.

— В партизанах состоишь? — спросил отца в упор.

— Чего?— переспросил отец.

— Партизан, спрашиваю?

— Не знаю таких,— мотнул головой отец.

— А кто знает? А?— в голосе офицера просквозила заискивающая нотка.

— Так откуда мне, ваше благородие, знать, кто знает. Я сам по себе, ни в какие дела не ввязываюсь. Так спокойнее,— отец звучно шваркнул носом.

— Ваньку валяешь? — Офицер испытующе посмотрел отцу в глаза.— Или в самом деле дурак? — подошел к койке, и рука, наверное, по привычке все ворошить, что-то искать, приподняла угол перины.

Сердце отца екнуло. Пропал! И как-то само собой получилось, что он вытянул руки по швам, пристукнул каблуком и гаркнул:

— Так точно, ваше благородие!

— Что? — вылупил на него глаза офицер.

— Виноват! Никак нет, ваше благородие!

— Что-о? — протянул колчаковец, совсем сбитый с толку.

— Я не дурак! А вот в нашем полку был фельдфебель, так тот был точно — Дурак! — выпалил что было духу отец и понял, что, кажется, пронесло: не заглянув под перину, офицер выпустил из руки ее угол, сказал с насмешливой снисходительностью:

— Выучка-то есть, вижу. А вот побасенка твоя не веселит уже. Видишь, не смеются,— указал на солдат, возившихся за печкой.— Э! Нашли чего-нибудь?

— Нет ни...— Рябой матерно выругался и плюнул в кадушку с водой.— Но, чую, должно быть, ваше блародие.

— Ладно, пошли.

В дверях офицер обернулся:

— Пустить бы тебе красного петуха.

— Слушаюсь, ваше блародие!— выслужился рябой.

— Гляжу, разухарился ты сегодня. Пошли-и...

Будто боясь, что офицер сейчас вспомнит, что не загля-

нул под перину, и сейчас вернется, отец, белый как стена, сел на койку. Мать была ни жива ни мертва. Она одна увидела, что хоронится под периной.

— Чего ж ты мне не говорил?— укорила отца.

— Чего, спрашивает, не говорил. Да ты б тогда и к койке боялась бы подходить. Тем паче напуганная уже.

Как-то ночевали у них двое. Из качирского отряда. Утром мать сгребла солому на полу, стала пучками запихивать в топящуюся печь. Вдруг как грохнет. Пуля царапнула матери переносицу и ушла в потолок. Легко отделалась. (Шрам на переносице остался у матери на всю жизнь. Бывало, она шутила: «Пусть отец твой не похваляется. Я тоже на войне была. И даже раненая»).

— Чего не сказал. Скажи тебе после этого. Да и не положено.

— Пока они там с конями, я б его — в люльку. И Шурку положила б.

— А как бы ты его взяла-то? — покосившись на дверь, отец достал из-под перины наган.

— Как вот ты сейчас,— сказала мать и ударилась в слезы.— Отнеси ты его, собаку! Все загинем!..

— Отнесу,— пообещал отец и стал искать место, куда бы перепрятать оружие. Вещь вполне хорошая, смазанная, где попало держать не годится.

— Только говоришь, знаю..

Отец вскинул строгие брови.

— Хватит! Я ж сказал! — И, не найдя места более подходящего, снова сунул наган под перину.

А какое-то время спустя в Воскресенку пришло известие: со стороны Качир идет отряд колчаковцев, который нужно задержать. Любыми средствами. А средств у воскресенских партизан, можно сказать — никаких: отряд небольшой, оружия мало, а боеприпасов, тех и вовсе кот наплакал. Судили-рядили, как быть, ничего не вырядили. И

вот тогда мой отец и его лучший друг и сосед Пимен Вострейкин, переговорив меж собой, предложили:

— Разоружить беляков — и баста.

Их тут же подняли на смех.

— Долго ль думали, енералы?

Отец и Пимен обиделись.

— Может, сначала послушали, а уж потом бы и зубы скалили.

Партизаны притихли.

Отец и Пимен доказывали, что то, что они предлагают, вовсе не блажь, если рассудить здраво. Колчаковский отряд тот — силком мобилизованные мужики из окрестных деревень, и гонят их аж под самый Славгород ладить дорогу. А на кой здешним мужикам та дорога, по которой им, может, век ни ходить, ни ездить. До дороги им, когда сенокос в самом разгаре, рожь доспеваает?..

— Так-то оно так, да мужики те не сами по себе. При них офицеры....

— Рыску много, — стали высказываться партизаны.

— А может, стоит? Попробовать?

— Такие штуки, дура, не пробуют. Тут пан или пропал. Да и охотники вряд ли найдутся.

— Мы и охотники, — сказали отец и Пимен.

— Ну что ж...

На том и порешили.

...Пимен Вострейкин, засевший с дробовиком за трубой отцовской хаты, — она так и оставалась крайней в селе, — сказал вполголоса:

— Кажись, Федор, идут — пылит за околком.

Отец достал из-за пазухи тот самый наган — всего с двумя патронами, — обнажил шашку, висящую через плечо.

— Зря, — возразил Пимен, — сунь ее назад.

— А чего?

— Спокойней в их глазах будешь.

Отец вложил шашку в ножны.

— Семи не бывать, одной — не миновать. — И пошел по дороге в сторону околка...

Прямо на него на буланом коне ехал офицер. Сердце часто заколотилось в груди, ноги похолодели. Подумалось: «Тут мне, видно, и каюк»:

Офицер все ближе.

«А! Каюк, так — каюк. Теперь уже поздно рассуждать».

Отец остановился, поднял наган:

— Сто-о-ой!..

— В чем дело? — натянул поводья белый офицер. — Кто такой?

— Красные партизаны советской власти! Уважительно просим здесь же скласть оружие и гуляйте на все четыре стороны. — И отец поспешил добавить: — За мной агромадная сила, — кивнул назад, на Воскресенку.

— А ну, с дороги! — приказал офицер.

И тут же в задних рядах грубовато-развязный голос сказал:

— Погодь, ваше благородие, может, человек еще что скажет.

— А что я вам скажу? Неужели вам, басурманы, не надоело еще шастать по степи? Не навоевались? Хлеба вон дозревают. Кто будет убирать? Опять ваши бабы да ребятишки?..

Говоря это, отец заметил: во втором ряду, крайний, — сын ивановского лавочника Буренкова. Вспомнил, что на прошлой неделе видел в лавке — за гвоздями ездил — молодую Буренчиху, баба была на сносях.

— А ты знаешь, сук-кин ты сын, что жена твоя родила вчера?

— Кого? — встрепенулся и вытянул шею Буренков.

— Кого?.. Хлопца. Кого ж еще. А Мамонтов нам пушки вырешил. Вчера пять штук прикатили. И двенадцать подвод снарядов.

— Ну уж... — усомнился кто-то.

— А ты проверь... А сегодня ераплан ждем. Нарочно

послали — вас бомбить... Если не складете оружие.

— Ты вот что, мужик,— слышался тот же грубовато-развязный голос,— больно борзо не ври, никто те не поверит. Ты распорядись, что и как. Да по домам. Может, и моя старуха пятого мне родила.— Из строя вышел крупный рыжебородый дядька с винтовкой наперевес.— Принимай,— бросил оружие на обочину дороги.

Накрест первой легла вторая винтовка — сына лавочника. А сам Буренков, то и дело оглядываясь, опрометью побежал в околок.

Офицер вдруг пришпорил коня и почти с места взял в карьер. Отец подумал, что это он погнался за беглецом, но тут же понял — удирает. Кто-то засвистел ему вслед, кто-то гикнул.

«Это уже другое дело»,— подумал отец, и ему сделалось по-настоящему страшно...

В тот день мать опять плакала и упрекала отца в безрассудстве. Отец обещал не встречать больше ни в какие подобные дела. Мать, конечно, не верила:

— Хоть бы уж не зарекался...

— У тебя самовар готов!?!..

Потом, спустя много лет, отец, бывало, говорил:

— Во удумали. Да любой бы — шелк — и нету дурака!.. А тогда мы с Пименом еще и спорили, кому идти. В орлянку разыграли — мне орел выпал.— И задумчиво, с тоской о былом: — С Пименом мы де-е-елали дела...

Добытые трофеи на другой день погрузили на подводу и отвезли в штаб красных партизан. Воскресенцам выдали квитанцию — печать и подписи, все как положено — с перечнем всего, что было сдано. Татьяна Федоровна говорит, что квитанция та хранилась у отца.

Бывало, отец, слазав на чердак, выговаривал мне с глубокой досадой:

— Все папки поразорил, порасташил! В них, дурья твоя голова, еще с Воскресенки документы были! Взять бы да всыпать тебе ремня хорошего.

Есть такой грех на моей душе. По своему детскому недомыслию я запустил в небо в виде самолетов или потопил в ручьях в виде корабликов немало отцовских бумаг. Не исключено, что среди них была и та квитанция.

Отец мой был — только не знаю, насколько одаренным, — гармонистом. А что это была за фигура на селе, пояснять, думаю, нет смысла. Пимен Вострейкин — балагур, забияка, пересмешник, сквернослов, табачник, выпивоха и частушечник — долго и тоскливо завидовал своему другу. Наконец предложил своеобразный обмен: отец учит его музыке, то бишь игре на гармонии, а он отца залихватскому — как один только Пимен умел — пению частушек разного, но чаще самого непотребного, распаскудного содержания, но которые, опять же, знал только один Пимен, потому что сам их сочинял в неисчислимом количестве. Кроме того, Пимен Петрович безвозмездно, как бы в порядке наставничества или шефской помощи, если пользоваться современной терминологией, обязался передать моему отцу еще одно искусство — которым сам тоже владел в совершенстве — искусство многоколенного сквернословия.

Однако обмена — надо прямо сказать — не получилось. Отец не смог пропеть по-пименовски ни одной частушки. Подозреваю, что хитроумный Пимен Петрович именно на это и рассчитывал, чтобы получить одностороннюю, так сказать, выгоду: один он в селе играет и поет. Что касается многоколенных речений, то и этот вид народного искусства отец мой не постиг, в силу своей природной бездарности, должно быть. Во всяком случае из уст отца я не слышал ни одного (ни одного!) бранного слова, если к разряду таковых не относить слова: «черт», «сатана», «дьявол» и им подобные.

Как ни странно, а и Пимену Петровичу техника игры на гармонии тоже не далась, как не дает плохому коннику

надеть на себя узду дикая степная кобылица, — не освоил даже немудреного «Хаз-Булата».

Пимен Петрович, разумеется, переживал. Шибко. Но, конечно, недолго — не в его натуре.

— Ты — играешь, я — пою, мы всех видали... знаешь, где? Пошли, Федор, в культпросвет!..

И друзья пошли в культпросвет, который к тому времени организовался в Воскресенке.

Отец — играл, Пимен — пел:

Ты — Петрович, я — Петрович,
Оба мы — Петровици.
Нет помещиков-буржуев,
Нету белой сволочи...

Отец — играл, Пимен — пел. В хоре:

Вставай, проклятьем заклеянный...

Оба играли в спектаклях. Правда, отец — редко. Не в его, говорил, характере это дело. Ну, кажется, на зубок вызубрил роль, а на люди вышел — все позабыл. А вот Пимен Петрович был и тут в своей стихии. Только вышел, еще ничего не сказал — народ уже лопается от смеха, уже одаряет рукоплесканиями. А забудет слова — которые, впрочем, не очень-то и заучивал, — начинает от себя, да так, что от писаного не отличишь. Постановка по Гоголю, а он и Воскресенку втиснет, и побасенку про царя Николашку расскажет, частушку, вполне, разумеется, революционную, споет... Словом, большой мастер...

Жизнью и своим назначением в ней друзья были вполне довольны. О чем на досуге, бывало, и рассуждали, свернув по хорошей самокрутке, а потом и еще по одной.

Тем временем приехал в Воскресенку из Поволжья земляк отца, некто Аполлон Тимофеев. Баптист. Однако это какого-то особого впечатления на воскресенцев не произвело — баптисты в селе были. Аполлон, похоже, не лишенный организаторского дара, сплотил «братьев» и «сестер»

вокруг себя, став главой общины и проповедником. Сделал несколько нововведений. Одно из них — хор. Правда, пели, как говорят, насухую. Удовольствие, но не из больших. Под музыку было бы несравненно лучше. Аполлон Тимофеев обратился с просьбой поаккомпанировать «хоть первое время» к моему отцу. Отец отказать не смог — так уважительно, обходительно и душевно говорил с ним Аполлон, да и опять же земляк, самарский же...

Сначала отец, постепенно правда, отошел от культпросветовских дел, потом перестал выпивать, хотя и до этого выпивал, как всякий нормальный человек, по праздникам, потом — самое трудное — бросил курить, и, наконец, объявил однажды своему другу Пимену Вострейкину, что он обрел себя.

— Это как? — не понял Пимен.

— В моем сердце поселился господь.

— Гони этого квартиранта к... такой-то матери!..

— Пимен Петрович, ты говоришь слова неугодные богу и совершаешь грешные дела. Покайся! Приди к пречистым ногам господа...

— Некогда, Федор. А тебя-то какая муха укусила?

— Друг мой и брат мой. Приди в лоно господне. Брат Аполлон...

— Пошел ты со своим лоном и Аполлоном, знаешь куда...

И они разошлись. Остались просто соседями...

Мороз стоял лютый. А Васька, Танин ухажер,— в хромовых сапожках, в кожаном картузе.

— Форс мороза не боится!

А сам съежился, голову по самые уши в плечи втянул. Перед тем, как свернуть в свой проулок, Таня пожалела кавалера:

— Беги. А то сосулькой сделаешься.

Васька не стал упрячиться. Повернулся и потрусил

домой. А Таня, оставшись одна, вдруг забоялась. Не оттого, что глубокая ночь и кругом темень да такая тишь, будто все на свете повымерло, а оттого, что чувствовала свою вину. Когда собиралась на посиделки, отец строго наказал:

— Да смотри же, недолго.

— Ладно,— пообещала Таня.

Вот и недолго: поди, уже третий час ночи. Хорошего отец нагоняя даст. Если еще и ремня не выплетет. Дойдя до своих ворот, остановилась: боязно заходить. Но боязно не боязно — никуда не денешься. Потопталась-потопталась на месте и... И вдруг услышала странный звук:

— Ла-ла-ла...

Доносилось это от сарая в конце огорода и походило на человеческий голос.

«Воры!» — обомлела Таня.

И сразу же припомнились случаи, которые часто рассказывали. Воры так и делают: пока другие управляют в сарае, один стоит около и выкрикивает что-нибудь, мол, не подходи никто, иначе несдобровать.

Таня опрометью бросилась к крыльцу, вбежала — благо сенная дверь не была заперта — в хату.

— Пап, у нас воры!

— Какие еще воры? Где? — спросил спросонья отец.

Таня рассказала, что слышала на улице.

— Виновата, вот и придумываешь.

— Я слышала, пап.

— Говори спасибо, что дед Бессараб к нам пришел, а то бы я тебе насыпал сейчас. Узнала б ты воров.

— Здравствуй, Таня, — слышалось с печки.

— Здравствуйте, дедушка Бессараб.

— А я до вас, Таня, насовсем. И умру в вашей хате, если твой папка не выгонит.

Безродный старик Бессараб вот уже много лет жил в работниках у деда Чабанюка, богатого и скупого до крайности. На всю семью одна ложка, одна чашка. Круг-

лый год Чебанюк ходил в чембарах — штанах, сшитых из овчины, — зимой шерстью внутрь, летом — чтоб не жарко было — выворачивал. Переселяясь с Украины, привез породистых коров и быка. Бык знал только своих коров. Загодя Чабанюк окопал канавой для себя и старухи кладбище, вырыл могилы и сделал гробы. Чтоб гробы не стояли без пользы, нашел им применение: для отвода глаз властей ставил их на телегу и за десяток верст ехал на озеро за солью, которой незаконно приторговывал.

Нетрудно представить, как жилось у этого скопидома добродушному, простодырому деду Бессарабу. Хозяин и работник ссорились постоянно, а примерно один раз в месяц сцеплялись так, что пух от обоих летел. Дед Бессараб хлопал дверью и шел из Барсука (дед Чабанюк жил в том селе, откуда отец взял мою мать) в Воскресенку к моему отцу.

— Все, Федор Петрович. Чтоб его черти съели. Как же он мне надоел! Совсем ушел. И умру в твоей хате, если не выгонишь. Если он вперед меня окочурится, то и хоронить не поеду, чтоб он скис. — И, кряхтя, лез на печь.

А наутро или самое позднее через день Бессараб говорил отцу, что не желает быть ничьим нахлебником и, на чем свет стоит честя своего хозяина, шел снова в Барсук. При всей разности характеров стариков, видимо, связывали какие-то настолько крепкие узы, что у деда Бессараба не было сил разорвать их...

Дед Бессараб завозился на печи, закричал.

— Ой, Федор Петрович, то плохое лалаканье. Это кто-то в степи блукает.

— Совсем близко, дедушка, слышалось.

— А морозяко, Таня, видишь какой. Вот оно и сдается, что близко. Айда, Федор Петрович. — Дед стал слезать с печи.

Отец, дед Бессараб и Таня вышли во двор, прислушались. И точно: .

— Ла-ла-ла-ла...

— Я ж говорю, блукает. А ну, давайте живо солому на огород носить. Будем огонь палить, чтоб до неба,— распорядился дед и направился к скирде соломы.

Острый язык костра лизал небо.

Скирду у основания уже изрядно подскубли, но в спешке и суете этого никто не замечал. Главное, чтоб полыхал костер.

— Живее, Таня, живее.— Теребя солому, дед смотрел на пламя и не заметил, как скирда качнулась, накренилась и повалилась набок.

— Дедуш...

Дед Бессараб оказался заживо погребенным под соломой, и спасательный отряд остался без смекалистого и многоопытного командира. Теперь и его самого надо было немедленно спасать. Отец принялся откапывать деда, Таня одна поддерживала костер.

— Эге-ге! — донеслось вдруг из тьмы.

— Кто там? Сюда! — позвала Таня.

— Та я. Ах, боже ж мий.— В оранжевый круг света ступил дед Рыбалко.— Цэ ты, Танька? А я трошки блукнув.

Дед Бессараб вылез из соломы весь в трухе, тронул предплечье:

— Немного ударило... Живей, Таня... А кто там еще? Рыбалко, ты? Здорово!

— Здоров!

— Чего стоишь! Помогай, носи солому. В степи какая-то людина блукает.

— Та то ж я та людина.

— Ты?

— Ну!

— А штоб ты скис!

Дед Рыбалко сильно продрог и, оказалось, подморозил пальцы рук. Отец послал Таню к лавочнику Костикову за водкой. Деда Рыбалко стали растирать, но он уверял, что лучше бы «унутро, бо и язык трошки задубив».

Дал ему отец и «унутро». Когда язык «отошел», дед рассказал, как все приключилось.

Дело было субботнее. Сыновья деда — жили своими семьями — собрались на базар в Качиры. Дед надумал тоже ехать — купить ведра. Чтоб не замерзнуть на возу — все-таки до Качир верст сорок с лишним, — выпил «трошечки горилки». По дороге — верст восемь отъехали — он вспомнил свою молодую жинку, которая осталась скучать в хате одна, и передумал ехать. Слез с воза и, чтобы скорее дойти, пошел не по дороге, а «напрямки», благо снег был неглубокий. Заблудился. А мороз поджимал и поджимал. Дед Рыбалко струхнул. Правда, сам он этого не говорил, но было и так понятно. Стал кричать. В ответ где-то далеко завывали волки. Дед замолчал — волки тоже замолкли. Потом опять завывали, уже близко, видно было, как светятся, будто угли, их глаза. Дед крестился, читал молитву, и волки отходили. Потом Рыбалко увидел столб огня и пошел на него, потому что где огонь, там и люди. И все, слава богу, кончилось хорошо.

Дальше дед предпочитал принимать только «унутро». И с каждой новой остановкой случившееся казалось ему не таким уж страшным. Он даже стал уверять, что один волк подошел к нему на шаг, не дальше. Дед снял рукавицу, сложил дулю и поднес ее под самый нос волку. Волк понюхал дулю, скривился, чихнул и, поджав хвост, убежал...

Когда бутылка опустела, дед Рыбалко вдруг расплакался и принялся благодарить:

— Ой, Хвэдор, ой, диду Бессарабу... Та якэ ж вам мое спасибочки. Задубив бы я. Як бы без мэнэ моя Наталка...

— Ты не нам, ты вон Таньке говори спасибо, — подсказал отец.

— Спасибочки, Таню, яка ж ты гарна дивчина, дай бог тобі здоровья.

Уже светало, когда отец повел домой деда Рыбалко.

Войдя в свой двор, дед шваркнул носом:

— Як тут голуба моя бэз мэна?..

Отец постучал в сенную дверь. Стал ждать. За дверью — ни звука. Постучал еще.

— Наталка, ясочка, видчиняй...

— Однако, любит твоя ясочка поспать, — заметил отец и снова постучал, посильнее и понастойчивее.

Через какое-то время в сенях послышались наконец шорохи, возня, гряк, звякнуло отрывисто что-то металлическое, и лишь потом слабый невнятный голос Натальи:

— Кто там?

— Открывай, свои, — отозвался отец.

— То я, моя кохана...

Наталья отворила дверь. На молодом, обычно румянном, лице — бледность и смятение. Полушубок, накинутый поверх ночной рубашки, разошелся на тяжелой полной груди, Наталья запахла, деланно обрадовалась:

— Уже приехали?!

— Кохана моя... — Дед полез было к жинке, от которой веяло теплом, с объятиями, но запнулся о порог и оказался на четвереньках. Отец поднял его и повлек в хату. В кладовке, почудилось отцу, опять звякнуло что-то металлическое.

— А мэна, Наталочка, вовкы було зылы. — Дед бросил на лавку рукавицу. Другой не было, наверное, обронил, когда норовил обнять Наталью.

Отец вышел в сени и увидел: рукавица валяется на крыльце. На крыльце же, скрючившись, стоял брат Аполлон и безуспешно силился снять с валенка худое, без дна ведро.

Услышав, что кто-то вышел из хаты, Тимофеев, походило, вознамерился скрыться с ведром.

— Погоди, брат Аполлон, — остановил его отец, едва сдерживая смех. — Хозяин новых не привез, а ты и старые уносишь. Сыми валенок, и оно спадет. Давай-ка, помогу...

Аполлон послушался разумного совета. Пьяно сопя, снял с помощью отца валенок.—нога была голая. Отец заметил еще раньше, что портянки заткнуты в карман полушубка.

— Прости, брат,— трудно ворочая языком, промолвил Тимофеев, когда операция со снятием ведра была закончена.

— Бог простит,— сказал отец. И ему припомнились проповеди «главы общины» о служении человека истине и правде, что есть Христос, о великом братстве людей, о целомудрии желаний и помыслов. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,— вспомнил отец,— уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Даже кто только смотрит!.. Как внимал отец каждому слову брата Аполлона и как благодарил судьбу, что послала ему такого ясновидящего и мудрого апостола!.. И вот он, этот апостол...

От лба к затылку побежали, шевеля волосы, мурашки. Так бывало всегда, когда в отце внезапно вспыхивала ярость. Одна рука цепко схватила за грудки, кулак другой влип в рыхлость Аполлонова лица.

— Бог, говорю, простит!..

Аполлон крутанулся штопором и распластался среди двора. Отец поднял его вновь, поставил к себе спиной и изо всей силы толкнул вперед, рассчитывая, что негодник в аккурат угодит в проем открытых ворот, но получилось, что он ткнулся носом в сугроб, в то самое место, где дед Рыбалко — зябка бегать по морозу в нужник — наделал в снегу глубоких желтых сот. Словом, вышло еще лучше.

Отец поднял рукавицу и отнес ее в хату.

Пимен Петрович скидывал с зарода сено. Отец, потоптавшись на крыльце своей хаты, погладил коротко подстриженные усы, кашлянул и крикнул:

— Пимен!

Тот поднял голову.

— Табак есть?

Пимен Петрович удивленно посмотрел на отца, потом воткнул вилы в сено, скатился на землю и пошел к отцу прямо по снегу, через огород...

Курение уже не пошло отцу. Но он легко и на всю жизнь пристрастился нюхать.

Когда отец подошел к сельсовету, собрание уже началось. Речь держал, опершись пальцами о стол, покрытый красной материей, товарищ из области, носатый и в очках. По правую руку от него сидел председатель сельсовета Праслов, по левую — товарищ из района, пожилой, с пшеничной бородкой утюгом, рядом с ним — секретарь воскресенской партячейки Агния Зыкина.

Товарищ в очках сыпал цифрами: в области уже организовано столько-то колхозов, объединивших столько-то единоличных хозяйств, что составляет столько-то процентов к плану. Обобществлено столько-то скота, в том числе лошадей... столько-то плугов, борон, сеялок, молотилок. К колхозам отошло столько-то гектаров пахотной земли... Цифры казались отцу интересными, но товарищ в очках так быстро говорил, будто сенокосилка стрекотала, что в голове все перемешалось. Закончил свою речь товарищ из области твердой уверенностью, что воскресенцы, бедняки и середняки, ликвидируют кулака как класс, сломят сопротивление всех прочих врагов и встанут на путь коллективного хозяйствования.

Потом встал районный товарищ с пшеничной бородкой. Улыбнулся воскресенцам и стал рассказывать сказку о том, как отец, умирая, подозвал трех сыновей, дал им веник и велел сломать его. Никто из дюжих молодцов сломать веник не смог. Тогда отец развязал веник и сказал: «Ломайте теперь». Сыновья брали по пруту и ломали, пока не сломали все. Дальше товарищ с пшеничной бородкой сказал, что колхоз и есть тот веник, который не сломать ни кулакам, ни стихиям...

Воскресенцы, согласные с товарищем с пшеничной борожкой, подкупленные простотой и доходчивостью его агитречи, дружно аплодировали и выкрикивали: «Правильно!..»

— Правильно! — сказал мой отец и сообщил товарищу с пшеничной борожкой, что в Воскресенке веник уже есть. Веник этот — коммуна, в которую, например, он, отец, вошел чуть ли не первым, сдав все свое середняцкое хозяйство, и нисколько о нем не тужит. Зачем же еще веник, когда надо просто содержать в порядке тот, что есть?..

Тут председатель сельсовета Праслов привстал, чтобы одернуть отца: «Федор!..» Больше он ничего не успел сказать, потому что сам был одернут товарищем в очках: «Погоди-ка...»

Отец расценил его «Погоди-ка...» как поощрение и продолжил в том духе, что коммуна — это как раз то, что крестьянину и надо. Вот их на кожзаводе пятеро. И каждый знает: его дело — кожи. Работай и не думай, как сено корове накосить, где зерно смолоть, чем детей накормить, потому как сколько у меня едоков, столько и получу и хлеба, и молока, и масла. Мое дело — кожи. Чтоб товар был — как товар...

Тут к отцу пробрался Пимен Петрович Вострейкин и ткнул его локтем в бок. Отец умолк. Не потому, что внял Пимену, а потому, что сказал уже все, что хотел сказать.

Тогда встал товарищ в очках, сверкнул линзами и сказал, что товарищ, то есть мой отец, — несознательный элемент и является тормозом крестьянского движения, так как льет воду на мельницу классовых врагов и так далее.

На что отец, загодя успев отвести локоть Пимена, ответил в том духе, что коммуны выдумала не его голова, то есть не отца, а головы поумнее и, значит, видели в них прямую выгоду. Или те головы были несознательные тоже алименты?.. Дальше отец сказал, что разумнее всего сделать так: кто хочет идти в колхоз, тот пусть идет в колхоз, а кто хочет остаться в коммуне, тот пусть остается в ком-

муне. И посмотреть, что из чего выйдет. Время рассудит, сказал отец, что приживется, то и будет жить. А лошадей стегать же надо бы.

— Значит, вы против коллективизации, против колхоза? — прямо спросил товарищ в очках.

— Как можно против, когда я в нем не был? Я состою в коммуне,—сказал отец...

Через неделю после ареста отца освободили. Через две — опять арестовали. Опять освободили и опять арестовали («Одни забирали — другие выпускали»). Вызвали на допрос.

— Когда единоличником был, кожи выдελывал?

— Выделывал.

— Шорничал?

— Шорничал.

— А в коммуне?

— И кожевничал и шорничал.

— Ясно...

А какое-то время спустя отца потребовало высокое начальство и объяснило, что на новом Павлодарском кожевенном заводе нет толковых мастеров, а производство налаживать край как надо. Этим отец и займется. Подсобная сила и все прочее — будет. Завтра же... А что касается... В общем, лес рубят — щепки летят. Но и думать надо, прежде чем говорить...

Через полтора года отец нашел семью в Прокопьевске, куда мать, помыкав горе в Воскресенке и похоронив троих ребятишек, уехала следом за своими братьями, подавшись работать на шахты.

Началась пора странствий и скитаний. Пробовали обосноваться в Убинске, в Кузнецке, снова в Прокопьевске, в Мундыбаше... Ранней осенью тридцать третьего сошли с поезда на незнакомой станции Кузедеево. Сложив узлы на дощатом перроне, отец вздохнул, как вздыхают в конце тяжелого и длинного пути.

— Все. Будь, что будет, а отсюда уже никуда. До самой смерти...

Купили землянку. Отец устроился работать в райбольницу. Был в одном лице и плотником, и печником, и столяром, и стекольщиком. Потом перешел в утиль, как он говорил.

Под лай собак и сопровождаемый табунами детворы, ездил по окрестным деревням, собирал тряпье, старые калоши, металлолом, кости, рога, копыта, макулатуру. Расплачивался с бабами и ребятишками булавками, красителями, ученическими тетрадами, карандашами, рыболовными крючками, глиняными свистульками, жужжалками и прочим нужным и забавным, но часто недолговечным товаром. Проездил он так с год, и его назначили заведующим Кузедеевским заготовительным пунктом. Пробыл он на этой должности до самой реорганизации — кажется, в сорок восьмом году — системы «Союзутиль».

При сдаче дел обнаружилась недостача — шесть килограммов мешкотары и примерно столько же макулатуры. То есть недостача чисто символическая. И, тем самым, возвышающая отца в глазах окружающих куда больше, чем если бы ее не было вообще. Ведь нет недостачи — и разговоров нет. А тут шесть — всего лишь шесть! — килограммов мешкотары и столько же макулатуры за полтора — целых полтора! — десятка лет.

— Вот так надо работать! — горделиво говорил отец и считал своим долгом тут же заметить: недостача мешкотары оттого, что в юбках и штанах из тонких американских мешков в войну и после нее ходило полсела.

Было такое. Отец по просьбе баб килограмм за килограмм менял — а иногда и так, за одно спасибо, давал — сданные «Заготзерном» американские мешки на разное тряпье.

— Наряжайтесь, — говорил.

И хоть не полсела (отец любил преувеличить или при-

уменьшить—когда и что было ему выгодно), но многие щеголяли в мешочных, пятнисто покрашенных одеждах.

Недостачу макулатуры отец связывал со мной. Это-де Вовка приходил в склад и утаскивал разные книжки. Говорил он это с тем снисходительным укором, без которого трудно в таком случае выразить родительское самоудовлетворение: мол, пытливость, тяга к знаниям, и тут, граждане хорошие, ничего не поделаешь. В моей личной библиотеке есть книга Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», изданная в 1937 году. Действительно, принес я ее из отцовского склада. Но спешу пояснить, что привлекла она меня тогда, в семи-восьмилетнем возрасте, ярко-красным коленкоровым переплетом. А читал и конспектировал я эту книгу спустя много лет, когда переплет потускнел и обветшал. Обветшал не сам по себе... Впрочем, скоро я опять вспомню об этой книге. Мало того, она даже будет выступать в моем повествовании как персонаж.

Отцу шел пятьдесят третий год. Матери было на четыре года меньше, когда она затяжелела. Рождение ребенка — радость. Но в таком возрасте... Сыну Татьяны Федоровны, внуку моих родителей, было уже восемь лет.

Главный врач районной больницы Чесноков, хороший приятель отца предложил:

— Простейшая операция...

— Детоубийцей не буду! А ты — блюди закон! — отрубил отец.

Бывало, кто-нибудь незнакомый интересовался:

— Внук?

— Сын. Поскребыш,— отвечал отец и ласково гладил меня по волосам и добавлял:— Мазанный, то есть балованный.

Мои старшие братья и сестры к тому времени кто умер, кто не вернулся с фронта, кто обзавелся своей семь-

ей, и жили мы втроем: отец, мать и я. И верно: родители меня немного нежили и холили. Только немного.

Некоторые действия и поступки отца выглядели если не чудачеством, то, во всяком случае, казались со стороны странноватыми. Например, в начале мая, когда забот во дворе уже хоть отбавляй, когда уже на всех устах пословица «весенний день год кормит», отец раным-рано запрягал быка Мишку и ехал в лес. Я просыпался, выбегал на крыльцо и не верил своим глазам: в нашем дворе выросла пихтовая аллея. Это отец проделал ломом глубокие лунки и вставлял в них пихточки, срубленные в лесу. Отец привозил из лесу «сад» — так он называл это, — чтобы почтить в день Победы павших солдат.

Или однажды отец взял ножницы, разрезал не такую уж старую материну юбку из красного сатина, сделал флаг и седьмого ноября укрепил его на крыше нашего дома. Мать плакала. Не из-за юбки, конечно.

— Рехнулся! Сними...

Не контора колхоза, не сельсовет, а обычный индивидуальный дом — и вдруг флаг на крыше, такого обычая тогда не было. Соседи с опаской косились на наш дом, тихо говорили промеж собой:

— Сблажал...

Потом односельчане скажут это же самое слово и прямо в лицо отцу.

В шестьдесят пять лет от роду, будучи пенсионером, отец мой вдруг надумал и... вступил в колхоз.

— Федор Петрович, на кой ляд! Народ из колхоза бежит, а ты...

— А я — в колхоз. Верно говорите.

— Но на что тебе это?

— Не мне. У меня все есть. А в колхозе шорника нет.

— Ну и чинил бы колхозу упряжь по договору или как.

А то ведь бесплатно будешь — за трудовни.

— Конечно, за трудовни, раз я теперь — колхозник.

— Не-е-ет, сблажал ты на старости лет. Сблажал!..

А мне, не скрою, доставляет удовольствие рассказывать об этой вехе в жизни отца. Помните, говорил он товарищу в очках: мол, время рассудит. Время рассудило.

На моей памяти у отца не было большего горя, чем смерть матери. Он заметно постарел, стал хуже слышать, ушел в себя, сделался рассеянным. Однажды ночью я не спал — тоже тосковал по матери, жалел ее, — отец в другой комнате ворочался с боку на бок, вздыхал и вдруг стал говорить:

— А я думал, что я первый... Чего ж ты так скоро-то?.. Еще вчера молодыми были, месили саман, сено сгребали... А сколько мы с тобой пережили всякого...

Мне сделалось жутко. Подумалось, что это пришла мать, ведь говорят же, что первое время покойники приходят ночами в свой дом. А может, отец помешался?..

— Пап! — выкрикнул я в ужасе и сел на кровати.

Отец умолк. Потом сказал сквозь слезы:

— Чего ты, сынок? Спи...

Раза два или три он посылал меня в магазин:

— Купи четушку...

Выпивал немного, ложился и спал до того, как пригоняли с пастбища стадо.

И, тем не менее, едва прошли сорочины матери, отец женился в третий раз. Что вызвало немало разговоров и кривотолков среди набожных стариков и старух, мол, рано, покойница не простит.

— Рад бы подождать, да не могу, — говорил отец и указывал пальцем на меня: — Он велит. Ему материнская забота нужна. А мне — хозяйка в доме. А что до Родионовны, то ей теперь все равно, а я ее меньше почитать не буду...

Александру Михеевну я назвал матерью. В первый же день и без чьей-нибудь подсказки или принуждения. Но отношения наши не сложились.

Татьяна Федоровна приехала дневным поездом. Подошла к отцу. Он лежал с закрытыми глазами и дышал не как утром — толчками и с хрипами, — а ровно и тихо. Будто спал.

— У него агония, — сказала сестра.

— Татьяна Федоровна, Володя, давайте сядем, посоветуемся, — певуче предложила Александра Михеевна.

— Но ведь папа еще живой, — возразила сестра.

— Растеряемся, если что-нибудь случится...

Само слово в такие вот минуты не произносится — табу, — говорят: «Если что-нибудь случится».

Татьяна Федоровна, внешне всегда относившаяся к моей маме с почтением, нехотя села за стол, пригласила глазами сестру и меня. Но я молча вышел на крыльцо. Не успел чиркнуть спичкой, как услышал приглушенно-встревоженный голос сестры:

— Володя, наш папа умер...

Лицо его было как у всех покойников — восковым и показалось мне вытянутым. И было оно непривычно умиротворенным, безмятежным. Сам не зная зачем, я приложил ладонь ко лбу его и почувствовал мягкое тепло. И это было последнее тепло, которое он передал мне.

Тик-так, тик-так, тик-так... Этот однообразный стук нарастал, нарастал и отдавался болью в висках. Я дотянулся до маятника старых-старых ходиков и остановил его. И все. Тихо-тихо сделалось в доме. И как-то пусто.

И вдруг:

— Ох, да на кого же ты меня поки-и-и-и-нул?!

Но это было очень грубо и неискренне. Вопль Александры Михеевны только испугал тишину. А пустота в доме так и осталась.

...Начала Татьяна Федоровна:

— Сухофрукты, сахар, крупу, еще там что я, мамаша, привезу. Стряпню в столовой закажем. Как с мясом будем?

— С мясом? — Александра Михеевна пожевала губы,

поводила ладонью по скатерти, как бы разглаживая морщинки.— Зарубим пятаха...— После мгновенной паузы поспешила добавить:— Еще Аня, сестра моя, дает пятаха.

Наступило молчание. Потом сестра, мельком взглянув на меня, сказала учтиво, но требовательно:

— Я думаю, мамаша, нужно телочку заколоть...

Рыхлое лицо Александры Михеевны пошло красными яблоками, но она сумела сдержать себя и тоже учтиво, но с каменной твердостью:

— Телка мне, Татьяна Федоровна, еще сгодится. Я не миллионщица.

— А что про нас, мамаша, люди скажут?— уже с той подчеркнутой учтивостью, что граничит с язвительностью, сказала Татьяна Федоровна.— Чужим «пятахом»,— сестра выделила голосом это «пятахом»,— поминки не отводят...

Я поднялся.

— Пойду на телеграф...

По августовскому густо-голубому небу задумчиво плыли караваны молодых бело-пушистых облаков. В бору терпко пахло смолой и медом свежего сена... Вспомнилось, как неделю назад отец, не имея больше сил, выронил косу из рук и заплакал, будто от него в самую тяжкую годину отвернулся самый близкий и верный друг. Человек прожил долгую жизнь, до краев наполненную трудами... А заработал на поминки свои всего лишь... чужого «пятаха». Я поймал себя на том, что слишком зло произнес про себя последнее слово. Пришло другое рассуждение. Ну, зарежут Марту. Какая-то часть пойдет на поминки. А остальное? Ведь лето... Да и в самом деле, какие теперь у старухи доходы? Тридцатка пенсии. Шибко не разживешься. Не надо. Пусть...

Но когда я вернулся домой, увидел: во дворе два соседских мужика сноровисто разделявают тушу.

Оказывается, разговор сестры с Александрой Михеевной продолжился после моего ухода так:

— Не надо, мамаша, не тратьтесь,— сказала — пред-

ставляю, с какой жалящей ласковостью — Татьяна Федоровна. — У нас деньги есть: и у меня, и у Петра, и у Володи. Проводим нашего папу не хуже, чем других людей провожают. А вы не тратьтесь... А потом, как немножко успокоимся, отойдем, с хозяйством поступим по закону... Нет, нет, и вас в обиде не оставим. А как же? Тут и ваша доля есть. По справедливости поступим...

Александра Михеевна уступила. Бедная Марта...

Я взял с этажерки две старые тяжелые книги в кожаных переплетах — Библию и Евангелие, — отнес их на сеновал и спрятал под подушку. А то ведь вечером соберутся возле покойного отца старики и старухи... Эти две книги, «переполненные человеческой тоской по истине», — все, что завещал мне отец. Главное же родительское Наследство было незначительно и уже давно было во мне...

Глава 2

КУРАЙ-СВИДЕТЕЛЬ

Зимним вечером сельчане собирались в кино. Бабы надевали ставшие модными после войны плюшевые жакетки, доставали из сундуков клетчатые, с тяжелой бахромой шерстяные платки; мужики, густо сопя, облачались в бобриковые «москвички» — тоже модные тогда — с цигейковыми воротниками, с прорезными, наискось, карманами, обували новые, еще не растоптанные, пахнущие палью и кислотой, валенки.

— Да смотрите тут... — строго наказывали родители ребятишкам и степенно и неторопливо шли в клуб.

Проходя мимо нашего двора, кто-нибудь, бывало, окликал отца:

— Федор Петрович, айда!..

Окликали больше для того, чтобы обратить на себя внимание: мол, ты хоть глянь на нас, наряженных-то. А что отец ответит на предложение, наперед знали.

— Я эти кина сам делал,— отвечал отец, имея в виду свою прошлую культпросветскую деятельность. Смотрел он кинофильмы только «на голосование», то есть в дни выборов.

На избирательный участок, в клуб, отец с матерью приходили раным-рано. Торжественно и чинно опускали в урну бюллетени и направлялись в буфет. Мать покупала пряники, конфеты, сайки — гостинцы мне и отцу, стоящему в сторонке среди мужиков,— стопку. Вино отец выпивал, чокнувшись с другими мужиками.

— С праздником!

Беседовали о том о сем.

— Еще по одной?— предлагали мужики.

— Вы — как знаете, а я — все...

Из буфета шли в кино. Садись на заднюю скамейку. Отец смотрел на экран и недоверчиво ухмылялся. Если зрителям было смешно и они смеялись, отец нервничал — смех заглушал звук, а родитель мой был туг на уши. Если, разжалобленные какой-нибудь сценой, бабы и девки начинали шмыгать носами, отец тоже нервничал:

— Распустили нюни! С чего?!— и даже порывался выйти, но мать удерживала его за рукав:

— Сиди! Перед людьми совестно...

Отец, скрепя сердце, сидел. Кое-как дождавшись конца, заключал:

— Шибко уж все складно. Трах-бах — ура, уже победили,— и тянул мать с задней скамейки поближе к сцене. Поглаживал усы и с затаенным волнением ждал концерта.

В самодеятельных артистах нашего села он узнавал, наверное, себя, молодого, и потому все их выступления — почти все, вернее,— приходились ему по душе, отец горячо аплодировал, легонько толкал мать плечом, восхищался: «От мерзавцы! Молодцы!» Только когда объявляли какую-нибудь незнакомую песню, притихал и настораживался — современную музыку не принимал.

— Гарчат, шумят,— говорил и перед самым моим но-

сом щелкал выключателем приемника:—Дожили! Уже и петь разучились!

— А «Подмосковные вечера»? Слушаешь же,— напоминал я отцу.

— Правильно. Я слушаю настоящие песни.

ПАТЕФОН. И слово-то само скоро забудется, отнесут его — если уже не отнесли — к разряду архаизмов. А тогда, в войну!..

Зимние вечера, известно, долгие. А кино показывали буквально по великим праздникам. Да и то если привезут движок, если найдется чем заправить его, если клуб освободили от овса, ссыпанного сюда осенью, если не возникнет каких-нибудь других «если», «чтоб они сдохли — говорили у нас — и не воскресли». Черные тарелки репродукторов висели на стенах, может, в одном доме из двадцати, про приемники и речи не было. Патефонов... Помню, был патефон у Шараповых, на другом конце села, и был у нас. Отец еще до войны купил его вместе с большим комплектом пластинок. То были, вспоминаю сейчас, отрывки из опер: арии, каватины, увертюры, почти вся популярная классика, были разные танго, рито-риты, фокстроты, много было русских народных песен, частушек, страданий, были, наконец, речи Сталина.

Чуть смеркалось, и к нам шли люди.

— Ох, ох, помереть бы! — это бабка Лесенкова, по прозвищу Шабала, щуплая — дунь — переломится, — но резвая на ноги. После обеда уже сбегала к старику на пасеку — девять километров, — отнесла ему свеженького хлебца, а оттуда прихватила туесок меду. И вот выставляет на стол стакан липового. — Ноньче-то играть будете?.. Ох, помереть бы... (Всю жизнь: «Ох, помереть бы!», а и по сей день жива — далеко за сотню перевалило).

— Здраска, Федор, — раскланивалась тетя Груша Плетнева, — здраска, тезка, — мать мою, Агриппину Родионовну, звала не иначе как тезка, — здраска, Вовка.

Славные, тихие старички Мясниковы приносили в узел-

ке ржаные, маленькими кубиками, сухарики — гренки, сказали бы сегодня.

Бабка Настя Волосникова, переступив порог, крестилась и просила с детской капризностью:

— Уж ты, Петрович, сперва мою ставь.

— Ладно, ладно,— обещал отец и улыбался.— Разболакайся. А сам-то чего не пришел?

— А куды-то курить побег, вертихвост.

Приходила тетка Матрена — сестра моей матери — с Петькой и Колькой, приходила тетя Марфа Хрущева со своими девками...

— Ну, ты готова?— осведомлялся отец у матери и открывал патефон.

Мать ставила на стол большой медный чайник.

Пили чай с медом Шабалы и с сухариками Мясниковых и слушали пластинки. Первой ставил отец, как того хотела бабка Волосникова, ее, «поповскую». Могучий бас (не помню, вернее, не знаю, чей) возвещал: «Чу-у-уют пра-а-авду!..» Бабка Настя подбиралась, принимала набожный вид.

Господь, в нужде моей
Ты не оставь меня!..—

пел бас. Бабка, часто кивая, нашептывала что-то и истово крестилась. А на лице отца играла шельмоватая улыбка.

— Спасибо, Петрович,— благодарила бабка Волосникова, когда отец снимал пластинку.— Как в церкви побывала. Скорби великой псалом. Немного погодя ты его еще разок заведи.

У других тоже были свои любимые пластинки. Была и у меня — про блоху, которой чудной король велел шить кафтан,— но в отличие от всех была у меня еще и самая нелюбимая пластинка, та, которую отец ставил последней. Называлась она, кажется, «Саратовские страдания» и кончалась словами: «Я ответила, сказала: «До свиданья, спать хочу». Я ее так и называл: «Досвиданьяспатьхочу».

«...До свиданья, спать хочу,— пропоет пластинка, и отец, сказав: «Ну, и нам пора», останавливал диск, вынимал заводную ручку.

— Еще, пап,— просил я.

— Ты ж слышал, патефон сказал: «Спать хочу»,—и клонил податливую, будто и впрямь ее морил сон, головку звукоснимателя к ее ложу-зажиму.

Соседи досвиданьялись и расходились, а я не переставал канючить:

— Ну, па-ап... Хоть одну...

— Я ж сказал,— повышал голос отец,— завтра.

Я ждал и надеялся, что, может, завтра «Досвиданьяспатьхочу» пропоет что-нибудь другое, и проигрывание пластинок продлится. Но она упорно твердила одно и то же: «...До свиданья, спать хочу». И моя ненависть к вредной пластинке росла, росла и выросла до того, что однажды я вынул «Досвиданьяспатьхочу» из конверта и изо всей силы ударил о спинку железной кровати, и она раскололась на три части. И тут вошел с улицы отец.

— Мою. Любимую!

— Я нечаянно,— беззастенчиво соврал я и удивился: за что можно любить «Досвиданьяспатьхочу»?.. А может, отец еще имел в виду песню, которая была на обороте: «Дайте в руки мне гармонь»? «Провожанье» называлась.

Пластинки наши запали так глубоко мне в душу, что сейчас, когда слышу по радио, скажем, арию Ивана Сусанина, мне кажется, что это проигрывают нашу пластинку, и мне видится бабка Волосникова, осеняющая себя крестом. Передают, редко, правда, и «Досвиданьяспатьхочу». Не могу слушать. И все удивляюсь: за что мог любить ее отец?

Постепенно поколотил я — правда, нечаянно — другие пластинки. «Свернул голову» и самому патефону. И он еще долго валялся на чердаке среди прочего хлама.

...ДЕД ВОЛОСНИКОВ переступал порог, стаскивал шапку.

— Здорово были, Петрович. Шшыплеца. Мороз-то. Бежал мимо, думаю, дай зайду, понюхаем.

Отец откупоривал пузырек, подносил деду, потом сыпал табачной пыли себе на ладонь.

— Куда бежишь-то?

— Дак на конный.

— Поздно что-то.

— Дак я уже и к Худойкину забежал — покурили. А от него... ха... хап... хап-чи! В душу мать! Хорош, сатана, — спасу нет... А от Худойкина, говорю, к Долгову завернул. Тоже посмолили... Ха... Хап... Хап-чи! Ой, хорош... Ну, побегу...

Вернувшись из леса с сеном, колхозники уже затемно выпрягали лошадей, отпускали их в загон, упряжь несли в хомутную, развешивали на штыри. Трудовой день закончен. Теперь можно самую малость погреться — с утра ведь на морозе, — да и по домам. Печка пышет жаром — конюх Кузьма Иванович Карпенко дровец не жалеет. Мужики рассаживались по лавкам и, само собой, сворачивали сигарки.

— Снегу много в лесу? — интересовался, тоже закуривая, Кузьма Иванович. По старости приставленный к лошадям, он тосковал по настоящей работе и завидовал мужикам помоложе.

— Намело, — устало отвечал Яков Прохоров и затягивался. — Слабый, холера. А вроде одних листьев намял.

Кузьма Иванович, приставив к виску ладонь, выглядывал в окошко.

— Сегодня-то придет, нет ли...

— Куда денется. Я-а-авится, — уверенно говорили мужики.

Дядя Степан Скрябин являлся, когда под потолком плавало маленькое облачко дыма.

— Здорово были, — говорил голосом до того прокуренным, что это был уже не голос, а какое-то сипенье.

— Сыпни твоего,— протягивал Яков Прохоров к Скрябину бумажку, сделанную лоточком.

Дядя Степан не слышал. Будто бы.

— Дядь Степан!

— А?!

— Сыпни, говорю...

Скрябин — многие называли его, за глаза, конечно, Скрягиным, уверяя, что так правильнее,— очень нерешительно запускал руку в карман полушубка, но тут же вынимал обратно.

— А свой-то чего?

— Слабый, холера.

— Слабый, язви вас! За ём уход нужен. А вы как ни попадя сунете его в землю — и расти как знаешь. Хозявы! Табак — растения капризная. Его надоть...— Дядя Степан принимался втолковывать Якову, как «надоть» выращивать «капризную растению» и советовал: мол, приди по весне, научу и покажу. При этом он косился на бумажку-лоток Якова так, будто она могла причинить какую-нибудь неприятность.

— Приду. Завтра же. А сегодня — сыпни.

— Язви вас в душу-то.— Скрябин доставал пузатенький кисет, сыпал на бумажку Якова щепоть, сам тоже закуривал.

Тем временем заходили еще мужики, каждый подсовывал Скрябину бумажку, дядя Степан в свою очередь каждому выговаривал то, что уже выговорил Якову и лишь после этого нехотя давал табачку-крепачку.

Облако под потолком полнело, расплывалось вширь. Возникал и набирал силу разговор. Говорили в хомутной зимними вечерами о самом разном. И о наболевшем личном, и о колхозном, и о государственном, и даже во всемирных масштабах. Говорили о лошадях, об американце и атомной «бонбе», о трудоднях, о женах и ребятишках, о снижении цен, о рыбной ловле и охоте, о переезде в город, об умных собаках, о будущем села, о побитом немце и вооб-

ще о прошедшей войне, о весне и севе... Говорили всерьез, говорили и с шуткой, говорили друг другу в лад, а бывало, и спорили, за грудки, бывало, норовили друг друга ухватить... но такое на корню пресекалось.

Облако, густое и тяжелое, уже студенисто поколыхивалось над головами мужиков, уже кисет дяди Степана Скрябина, кем-то тихонько стянутый из-под носа хозяина, воровато передавался из рук в руки, когда в хомутную втискивался дед Волосников.

— Шшыплеца. Мороз-то. Кто, хлопцы, бумажку даст? Давно, Стяпан, твою не курил. Сыпни.— Дед Волосников всю жизнь был бескисетником, то есть курил «стрелу», и из курительных принадлежностей при нем были одни только губы, но он всю жизнь делал вид, что свой табак ему надоел, хочется для разнообразия испробовать другого.

— Язви вас, где?! — спохватываясь Скрябин кисета.— Мишка, негодник, дай сюды!

Мишка Потапов, нагло лыбясь, подымал на уровень своей широкой рожи совсем уже тощий кисет: мол, чего разорешься-то, тут уже и разоряться не из-за чего.

— А, дьяволы! — в сердцах махал рукой дядя Степан.— Дожирайте уж!

Мишка передавал кисет деду Волосникову, дед пускал его гулять дальше.

Прервавшийся было разговор продолжался. Но после прихода деда Волосникова, если вдруг в конюшне раздавались шаги, наступала сама собой пауза. Все гадали: кто бы это мог быть? Дверь открывалась — на пороге два подростка, из-за безденежья не сумевшие пройти в кино и вот явившиеся сюда в надежде, что кто-нибудь из молодых парней даст им тишком «бычка».

— Носит вас! — больше с радостью, чем с укором говорили мужики.— Дверь-то прикрывайте.

Разговор возобновлялся. Мужики бдили. Однако гроза всякий раз настигала врасплох. Дверь, как неожиданно пришибленная собачонка, взвизгивала, распахивалась на-

стежь. Вот она и Мария Прохорова, жена Якова! Ступив на порог, но тут же отпрянув назад, будто кто невидимый отталкивал ее, Мария закрывала рот ладошкой.

— А боже! Хоть колун вешай! Яшка!— в дыму, окутавшем мужиков, пыталась различить мужа.— Ох, подняло бы вас да шлепнуло! Где ты там, бессовестный! Ну-ка марш домой! До каких пор можно-то?!..

— Шас. Не шуми.

— Не шас, а сразу. А на тебя, дядя Кузьма, завтра буду председателю жаловаться.— Мария работала в колхозе счетоводом.

— Дак, а я — что? — конфузился Кузьма Иванович.

— А что привечаешь их.

— Дак я ж ничего...

Мужики, затосковав, что разговор, как кино в клубе, оборвался на самом интересном месте, поднимались.

— Эй, граждане, кисет-то, язви вас, возверните!—сипел дядя Степан.

Мужики принимались искать кисет и находили его, пустой и даже вывернутый наизнанку, в углу среди разного сора и веревочных обрывков, которые хозяйственному Кузьме Ивановичу все жалко было выбросить.

— Мать вашу так! Ну, завтра вы покурите! Не явлюсь!— грозился, совершенно однако не представляя, как это он не явится сюда завтра, равно как и мужики не могли себе представить завтрашнего разговора без дяди Степана и тем более — без его кисета...

На обратном пути с конного двора дед Волосников снова заходил к нам.

— Шшыплеца, говорю... А слышал, Петрович: новый ведь агроном у нас будет. Ученый, с образованием. А главное — баба.

— Там разговор был или дорогой придумал?— осведомлялся отец: дед Волосников был немного баламутом и пустобрехом.

— Разговор был. Табачку-то давай... Сам-то чего не

ходишь на конный... Ха... хап... Хап-чи! Ох, хорошо, нечистый дух! До кишок пробирает!.. Знал бы все, говорю.

— Я нюхач,— не без превосходства говорил отец.

— Эт верно. Туды только курильщиков пушают. А ты, как я, и кури, и нюхай.

— Курил. Так, как тебе и не снилось. А теперь вот, кажется, затянусь и помру тут же. А нюхачество мне зрения прибавляет.

— Ишь ты-ы!— удивлялся дед и надевал шапку.— Побегу. Может, еще к Худойкину забегу, давно его табачишко не пробовал...

— Погоди,— останавливал деда отец.— Бабу-агронома шлют. А еще про что там разговоры были?

— Дак много про что.— Дед неохотно стаскивал шапку.— Давай-ка еще понюшку.—И начинал суетливо и комканно — торопился к Худойкину, а от него еще и к Долгову надо — рассказывать то, что слышал и видел в хомутной...

УПРАВИВШИСЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ, понюхав табачку и чихнув так, что дремавший на сундуке кот подпрыгивал, как ошпаренный, и нырял в подпол, погладив усы, отец крутил регулятор громкости динамика — так, на всякий случай. Динамик безмолвствовал. У него был свой четкий график: день говорил, три недели — ни звука.

— Будьте вы неладны,— говорил отец в адрес монтеров, брал Библию и с кряхтеньем лез на печь. Читал с карандашом. Читает, читает, коротко, толчком, вздохнет, произнесет с растяжкой: «Нда-а-а». И подчеркнет что-то там карандашом, взятым из моей коробки. Или хмыкнет— когда удивленно, когда недоверчиво и опять что-то подчеркнет.

Читает, читает — задремлет и — каждый раз по-разному — то заурчит монотонно, как трактор, то какой-нибудь птичкой засвищет, то выталкивает из себя «брыс-с-сь... брыс-с-сь...», то трубит басисто, по-буйволиному: «Бу-у, бу-у...»

— Ну, пап! И так задачка не получается.

Отец тут же, будто вовсе не спал, а только притворялся, чтобы подразнить меня, отзовется:

— Решай, решай...

Я решаю. Мать готовит ужин. Отец читает «книгу книг». Читает, читает — крикнет, завозится, лукаво прищурит глаз — и матери:

— А, оказывается, тут и про тебя написано. Прочитать?

— Отвяжись! Есть мне когда слушать.

— Зря, — скажет отец безо всякого разочарования. — А то прямо про всех вас, сударышек. — И сделает пометку карандашом.

Бывало, отец тащил с собой на печь мои учебники. Над их страницами он тоже хмыкал и произносил свое протяжное «нда-а-а», но ничего не подчеркивал, а только — все-таки ж не его собственность — ставил на полях точки.

Однажды, удивленно хмыкнув и оторвавшись от «Истории СССР» за четвертый класс, спросил меня:

— А что там, сын, Швеция сейчас? Учительница говорит?.. Ну-ка спроси ее.

На следующем классном часе у нас шел разговор о знаменитых шахтерах нашего родного Кузбасса, но я, выполняя просьбу своего отца, поднял руку и спросил:

— А что сейчас в Швеции?

Мария Семеновна немножко рассердилась и гораздо больше удивилась. Рассердилась она потому, что разговор идет о шахтерах, а я вдруг спрашиваю про Швецию. А удивилась потому, что я спрашиваю не про Америку — тогда мы все спрашивали про Америку и поджигателя войны Трумэна, — а про Швецию.

— Как, что в Швеции? Капитализм. Или что тебя интересует?

Я пожал плечами.

— Вот видишь. Ты не только некстати, но ты даже не

знаешь, о чем ты спрашиваешь,— выговорила мне Мария Семеновна.— Садись.

Вечером отец спросил:

— Ну, узнал?

— Узнал. Капитализм там, вот что.

— Понятно, что не советская власть. А еще что сказала Мария Семеновна?

— Ничего.

Походило, больше всего отец желал услышать именно это мое «ничего». Пришел в восторг и пустился в рассуждение:

— А ничего уже и не будет. Все! Он, вишь, гордый был, он думал, что если он Карла Двенадцатый, а наш Петро только Первый, то его и возьмет. Не-е-ет, брат, шали-и-ишь! Первый-то Первый, да и русский же. А с русским не шути, он тебе живо покажет кузькину мать! Вот и вышло: был сокол, а стал пташечка, тля. Значит, говоришь, ничего? Правильно! Ничего и не должно быть. С Петром Великим — не связывайся! А, думаешь, почему его Великим прозвали?

— За большие дела, наверно.

— Во, во. А большие дела, скажи, только с народом делать можно. Петр с простыми людьми не брезговал вожжаться, не возвышал себя перед ними, не ставил в закавыку... Один раз ехал он куда-то по своим делам. Остановился ночевать в избе у простого мужика. Сели чай пить с хозяином. Пьют чай, Петр все выпрашивает, до всего допытывается, мол, как бы ты в таком-то деле поступил, а как в таком. Хозяин говорит, рассказывает. Что-то смешное рассказал. Царь засмеялся, да так громко, что ребенок в люльке проснулся и заплакал.

— Замолчи, чтоб тебя,— цыкнула на него мать.— У нас сам царь-батюшка.

А Петр:

— О, да тут и постарше меня чином есть.

И дальше уже говорил царь с хозяином тихонько, шепотом.

Во! Постарше, говорит, меня, царя.

Иной раз отец говорил:

— Вовку я, конечно, в честь Ленина назвал. А Петра Федоровича, того в честь Петра Великого. Он и ростом вышел такой же высокий...

— А раньше, пап, ты говорил: в честь отца своего,— напоминал я.

Отец смотрел на меня удивленно, как бы спрашивал: «Разве?» И выходил из положения:

— Правильно. Раз в честь твоего деда, то и в честь царя: все Петры—в честь Петра Первого. А до него, поди, у русских такого имени и не было.

...А однажды отец, что-то бормоча, слез с печи, в негодовании — будто мой дневник с двойкой — сунул мне под нос раскрытый учебник по истории средних веков, ткнул скрюченным пальцем в холеное лицо папы Иннокентия III:

— Вот он, видишь?!

— Ну, вижу.

— Велел звать себя наместником бога на земле. Ха! А сам главный антихрист!..

Распалился и пошел язвить. Одна старая дура купила свечку, поставила — рада: ублажила господя. А того не знает, что поп-пьяница слупил с нее уже пятый полтинник за эту свечку... А другая, молодая дура, довольна, аж вся светится: «А мы свою Ванечку окрестили вчерась, теперь он у нас истинный христианин». А христианину-то всего две недели от роду. Окрестила ты его, а что он смыслит? Вот вырастет, тогда и пусть сам решает. Может, он православие примет, может, католиком захочет стать, может, мусульманином, может, буддистом, может, баптистом...

Отец делал паузу, губы трогала плутоватая ухмылка.

— А скорее всего он безбожником будет. Коммунистом. Опять же: его, говорю, дело...

МНЕ БЫЛО ЛЕТ ПЯТЬ-ШЕСТЬ тогда. Отец с матерью поехали погостить к родственникам в Прокопьевск. Подомовничать попросили бабушку Настю Волосникову. Примостившись возле окна, бабушка Настя целыми днями вязала варежки, а я сидел на печи, играл сам с собой в разные игры, рассматривал картинки в книжках, декламировал стишки, пел песенки:

Синее море, белый пароход.
Сяду, поеду на Дальний Восток.
Там музыка играет, барабаны бьют,
Наши наступают, белые — бегут...

— И что он там такое нявкает, что мурлычет,— забурчала бабушка Настя.— Пустое это, Вовка. Давай-ка я тебя другому научу, такому, чего никто не знает.

Скажите, а кому не хочется знать такое, чего не знает никто?

За те несколько дней, что мы домовничали с бабушкой Настей Волосниковой, я научился петь духовный гимн и узнал несколько коротеньких стишков. Гимна сейчас не помню, только начальные его слова: «Отчизна моя в небесах...» Стишки тоже забыл, кроме одного, с которым связан забавно-конфузливый случай.

Мальчишки постарше повели меня на школьную елку. Было там для меня все внове и потому все нравилось. Особенно нравилось то, что за спетую песенку или рассказанное стихотворение учеников награждали дружным хлопаньем в ладоши. И мне страсть как захотелось получить такую же награду. Пожилая седая учительница в очередной раз спросила:

— Ну, ребята, кто еще что-нибудь нам исполнит?

Я браво, чуть ли не бегом — чтобы не опередил кто другой — взобрался на табуретку, стоящую перед громадной, до самого потолка, елкой, стащил, как это делали другие, с головы шапку, энергично утер рукавом нос и выпалил скороговоркой — очень уж не терпелось получить

награду — то, чего никто из собравшихся здесь, я был в этом уверен, не знает:

Я божия овечка.
Мое чистое сердечко.
Пастырь мой — Иисус,
Я ему молюсь.

Я приготовился получить заслуженную награду. Но, к моему удивлению, хлопков не последовало. Чего-то смутившись, все ученики переминались с ноги на ногу. Седая пожилая учительница посмотрела на другую учительницу, помоложе (то была, как я узнал, когда пошел учиться, директор школы Мария Ивановна), та воздела плечи.

Какое-то внутреннее чутье подсказало мне, что награды не будет, и я, продолжая стоять на табуретке, расплакался.

— Успокойся, мальчик,— подошла ко мне пожилая учительница.

— Не успокоюсь,— сказал я сердито и капризно.

— Почему?

— А почему они не хлопают?—спросил я с горьким упреком.

— Значит, твой стишок никому не понравился.

До меня один ученик рассказывал басню про ворону, которая сидела на дереве, и про лисицу, которая сидела под деревом. Ученику очень даже долго хлопали. Я тоже хлопал, хотя мне басня не очень понравилась, потому что я не все понял.

— Ага-а,— я тер кулаками глаза,— а как ворона каркнула — так нравится.

Все, и даже пожилая и молодая учительницы, засмеялись и — стихийно, конечно,— захлопали в ладоши, в знак, должно быть, того, что мои слова насчет карканья вороны показались забавными. Тогда же я принял эти хлопки как все-таки выхлопотанное слезами и словами вполне заслуженное вознаграждение за стишок, которого никто не знал...

Это было утром.

А вечером отец, придя откуда-то, спросил от порога:

— Где она... наша овечка? — Отыскал меня глазами, погрозил пальцем: — Ох, шкуру бы с тебя снять!..

В детстве у меня было прозвище Белан, которое я получил за цвет волос и которое — как всем и как всякое прозвище — мне не нравилось. Но потом я притерпелся, свыкся с ним и никакой обиды не испытывал, если меня называли Беланом. На другой же день после новогодней елки мальчишки и девчонки стали дразнить меня Божьей Овечкой. Я плакал. Но, к счастью, так продолжалось совсем недолго. Я вновь стал Беланом...

Временное прозвище Божья Овечка — вот и весь моральный урон, который я понес из-за религиозного просветительства бабки Насти, — величина столь незначительная, что, как говорят математики, ею можно пренебречь. Однако, чтобы величина эта ненароком не возросла, отец учинил расправу и над самой просветительницей. Как и что было, сказать не могу. Только однажды, строя во дворе снежный замок, я увидел: из нашего дома вышла бабка Настя. Она всхлипывала. Увидела меня, и ее морщинистое лицо еще больше сморщилось:

— Дак не по злу же я, Вовонька, не по злу, бог свидетель. Как лучше хотела. Прости меня, детка...

Хотя толком и не зная, за что, я простил ее тогда с готовностью: жалко стало бабку Настю, все-таки она была хорошая, славная.

ЦЫГАНКА застрекотала с порога, еще дверь за собой не притворив:

— Дай погадаю, всю правду расскажу. Позолоти...

— Чего тебе? — оборвал ее отец грубо. — Хлеба, картошки?

— Позолоти ручку, всю правду расскажу.

— Что было — не забыл. Что будет — узнаю. А брехню твою мне слушать некогда.

Цыганка, на то она и цыганка, попыталась поймать отца за руку. Отец отступил шага на два, объяснил:

— Ни в какие предсказания ворожеев, гадалелей, чародеев — не верю.

(Тем не менее, отец часто говорил: «Когда наш полк стоял в Польше, под Краковом, ворожил мне по руке слепой поляк: детей, мол, у тебя будет много, но живыми останутся только четверо, а доживешь ты до глубокой старости. Все верно». Внимательный читатель, наверное, уже заметил, что детей у отца осталось трое: Татьяна Федоровна, Петр Федорович и я. Кто же четвертый? В своем месте я назову еще и четвертое имя).

— Так чего тебе: хлеба, картошки? Денег не дам. Пусть твой цыган зарабатывает.

Цыганка обиделась:

— Плохие слова говоришь, дяденька. В бога не веришь.

— В твоего бога — не верю, правильно говоришь. У меня свой бог.

Когда цыганка ушла, я спросил отца:

— Пап, а твой бог — какой?

— А что тебе мой бог?

И, поразмыслив, рассказал.

Один мужик, пьяница и безбожник, не любил свою жену и хотел от нее избавиться. Гнад — не уходила. Решил убить. Повез в степь. Далеко увез, где ни одной живой души.

— Курай, курай, — сказала жена перед смертью, — будь свидетелем.

— Хэх! Свидетель! — усмехнулся мужик.

Убил жену, закопал — сам теперь не найдет.

Женился мужик на любимой. Раз сидит, чай пьет. Глянул чего-то в окно, видит: ветер курай по дороге гонит. Мужик вспомнил слова убитой жены, засмеялся про себя, мол, все чисто сделано, никто не докажет. А молодая жена ему:

— Ты кому это там, другой улыбаешься?

— Да так я.

— Как это так?— И давай, и давай допытываться. До того довела мужика, что совесть его не выдержала пытки — все рассказал.— Вот так, сын, от людей все можно скрыть, от Совести ничего не скроешь. Живи по Совести, служи ей верой и правдой, она — твой бог. А ты другого ищешь. Вот хоть вчера... По совести ты сделал?..

На пионерском сборе мы решили к празднику разыграть небольшую сценку про партизан. Вчера стали делить роли. Мне досталась самая короткая — это бы еще ничего, но, как я считал, еще и самая позорная. В одном месте я, «предатель родины», должен был сказать всего одно слово: «Пощадите!» — и меня убивают партизаны. Вот и вся роль. Почувствовав себя обделенным и оскорбленным, я отказался играть предателя.

— Это пионерское поручение,— напомнила председатель совета отряда Лилька Харламова.

— Не буду.

Тогда на маленьких листочках бумаги мы написали все роли, листочки скатали трубочками, бросили их в шапку, потрясли хорошенько и стали «тянуть». Я вытянул роль предателя.

— Теперь все честно,— сказала Лилька.

— Не буду!

— Я скажу Марии Семеновне.

— Попробуй.— И я ушел с репетиции с уверенностью, что Лилька только страшает, ничего она учительнице не скажет.

Но я ошибся.

Сажу дома за столом, хлебаю борщ. Приходят. Лилька и звеньевая Любка Беркутова. Лилька подала отцу записку.

— От Марии Семеновны,— и одним глазом покосилась на меня: «Сейчас тебе попаде-е-ет, ох и попадет же-е».— Вовка с пионерского сбора убежал.— И опять на меня покосилась: «Ну, берегись».

«Не радуйся, не попадет,— ответил я Лильке тоже глазами.— Я ему расскажу, как было, и он поймет».

Отец прочитал записку, сказал:

— Ладно, идите. А мы тут разберемся.

Девчонки ушли, я видел, разочарованные, им, конечно, хотелось услышать, а лучше всего увидеть в нашем доме еще что-то.

-- Ну, сын,— недобро посмотрел на меня отец,— рассказывай...

Я рассказал. Правда, с запинками и заминками.

— Ясно,— сказал отец и пошел в другую комнату.

Борщ стал казаться мне каким-то безвкусным, потому что я уже догадался: сейчас отец выйдет с «ременной кашей»...

Отец учинял мне порку трижды. Хотя вынимал ремень из брюк, как вчера, не так уже редко...

— Твой бог — твоя совесть,— повторил отец.

— Ну, а твой-то?

— И мой. А как же.— И после тяжелого раздумья:— Только я, сын, человек ранешный, и сказка моя, если б рассказывать, дольше была б.

ОДНАЖДЫ отец позвал с печи:

— Сын?

— Чего?

— Слово такое: филистер. Что оно обозначает?

Ни по какому предмету мы такого слова «не проходили», и я ответил:

— Не знаю.

— А ас... ассоциация?

— Тоже не знаю.

— Конечно не знаешь,— сказал отец таким тоном, словно бы дразнил меня: мол, не только не знаешь, ты их и не слыхивал, а я вот...

Откуда, подумал, ты-то их выцарапываешь? Обернулся и увидел в руках отца книжку с ярко-красным коленкорovým переплетом, ту самую, что я когда-то притащил из от-

цовского склада: «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Фридриха Энгельса. Все эти годы книжка лежала в горнице на вешалке среди других книжек, никому ненужная. И вот мой отец чего-то взял ее на печку.

Была у отца привычка: перед тем, как щелкнуть выключателем и лечь спать, оторвать сегодняшний листок календаря, рассмотреть, что там нарисовано, прочитать, что написано, и потом наколоть листок на гвоздик рядом с календарем. В тот вечер было немного иначе. Отец снял календарь, стал листать, ища что-то. Почти в самом конце на листке за 28 ноября нашел. Портрет Фридриха Энгельса. Поразглядывал. Прочитал статейку на обратной стороне. Опять поразглядывал портрет.

— Грамотный был человек. Шибко грамотный. А борода — что у пророка, — сказал и оторвал сегодняшний листок.

В следующие вечера отец кряхтел и морщил лоб над страницами Энгельса, время от времени вода по ним карандашом. Поставит книжку на животе шалашиком, смотрит в потолок и размышляет о чем-то, серьезно, сосредоточенно. Через какое-то время смотрю — уже Библию читает. Потом опять Энгельса... Вспоминаю ту пору, и представляется мне отец человеком, которого удивило что-то неожиданно-негаданно, ввергло в растерянность и лишило покоя.

— Сын, — спрашивает с печи. — Что такое, по-твоему, наивная, наивный?.. Наивная простота, к примеру? Тоже, значит, не знаешь. А по-моему, наивная — значит, мудрая. Вот послушай-ка немножко...

Книжка Ф. Энгельса с ярко-красным коленкорovým переплетом сейчас лежит передо мной. То, что отец читал мне, я нашел на девяносто второй странице, подчеркнутое зеленым карандашом:

«И какая чудесная организация этот родовой строй при всей ее наивной простоте! Без солдат, жандармов и поли-

цейских, без дворянства, королей, наместников, префектов и судей, без тюрем, без процессов — все идет своим установленным порядком. Все споры и недоразумения разрешаются коллективом тех, кого они касаются, — родом или племенем, или отдельными родами между собою... Домашнее хозяйство ведется у ряда семейств сообща и коммунистически, земля является собственностью всего племени. Бедных и нуждающихся не может быть — коммунистическое хозяйство и род знают свои обязанности по отношению к престарелым, больным, изувеченным. Все равны и свободны...»

Зеленым же карандашом на поле этой страницы начертано: «стр. 166». Тогда он, помнится, сказал:

— А вот еще...

И прочитал то, что я сейчас нахожу на сто шестьдесят шестой странице. Государство существует не извечно и не вечно. Исчезнут классы, исчезнет и государство. Новое общество, «которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором».

— Вот так! В музей, говорит, к прялке и топору! — сказал отец и засмеялся победоносно, будто он яростно и до хрипоты доказывал мне что-то, а я ни за что не хотел соглашаться, и напоследок отец пустил в ход главный козырь: открыл авторитетную книгу и ткнул носом: «Я, мол, что тебе втолковывал?» — Разумный человек Энгельс! Шибко разумный! — И самому же себе возразил: «Но и до него не дураки жили. — Взял в руки Библию...

Через какое-то время засвистел пташкой: «Вить... вить...» «Ну, пап!» — изготовился я сказать — задачка как назло не получалась — и заметил: по одну сторону отца — Библия, по другую — Энгельс. А он между ними. И меня осенило...

В тот день я ушел в школу с неприготовленными уроками. Я стал готовиться к другому уроку, куда как более важному и серьезному, думал я.

Сомнения одолевают человека потом, в более зрелом возрасте. А когда ты учишься в седьмом (в седьмом!) классе, ты — многознающий и — самое главное! — истинно знающий. А отец твой — жертва и пережиток прошлого. Блудит меж двух сосен. Разве ж не досадно?! И разве не благородно — помочь родителю выйти к свету такого же истинного знания?!

Я ничуть не сомневался, что это и возможно, и в моих силах. Тем более, что отец сам, то есть по своей воле, читает Энгельса и даже восхищается им. Но в чем-то сомневается, что ли, и одновременно заглядывает в Библию. Так вот моя задача — отбить охоту к Библии, этому яду, опиуму, и доходчиво и убедительно объяснить отцу, что в мире и отчего. Начну, решил я, с самого простого, как в школе: аз да буки, а там и науки. И начинать надо, внушал я себе, неназойливо, без горячки, иначе вся моя затея закончится «фор-р-менным дур-р-р-аком».

Бывало, прибегаю из школы и выдаю отцу новость: скоро будут снимать по тридцать центнеров пшеницы с одного гектара! Отец засмеется: мол, с пяти гектаров — поверил бы, а с одного — сказка. Мне, конечно, это не по нраву, а горячусь, доказываю: ученые опыты проводят. И даже больше тридцати будут. «Тридцать центнеров, — дремучие брови отца шевелились, будто взмахивала крылами птица, — это ж почти двести пудов! Не мели чепуху!». «Чепуху?!». И у нас начиналось. Отец тыкал в меня пальцем, сердито и нервно говорил, что, мол, яйца курицу учат. Это в свою очередь сердило меня, и я с визгом кричал: «Я, что ли, придумал? Ученые работают! Вот! А ты этот... консерватор!» Дальше — больше. Наконец, желая одержать верх, отец использовал — я считал это нечестным — свое родительское право, выговаривал: «Дур-р-р-ак! Фор-р-р-менный дур-р-р-ак!» Что означало: спор закончен.

Памятуя это, начинать надо осторожно, терпеливо и ни на какие провокации не поддаваться.

И вот, все как следует предусмотрев и взвесив, однажды за обедом я начал свой первый урок. Повел вполне популярный, подкрепленный неопровержимыми фактами разговор о происхождении человека. Сначала на земле — объяснял я отцу — не было никакой жизни. Потом образовался белок, потом клетка, дальше — простейшие... Так дошло до динозавров и наконец до слонов и обезьян.

Отец внимательно и даже, как мне показалось, заинтересованно слушал. Не перебивал. Это меня вдохновило, придало уверенности, и я продолжал: одна из обезьян прогуливалась как-то по лесу и споткнулась о сук, сломленный бурей. Подняла его — она была самая любопытная в стае, — порассматривала и бросила. Потом посмотрела на яблоню и увидела среди прочих яблочко, красненькое и спелое. Обезьяне очень захотелось отведать этого яблочка — она была большой лакомкой, — стала на задние лапы и потянулась за яблоком. Но не достала — яблоко росло высоковато! И тут обезьяну осенило! Она подняла тот самый сук, выпрямилась насколько могла и не очень, правда, ловко сбила яблоко. Потом другое. Уже посноровистее. Так она начала трудиться. Вот от этой самой обезьяны и произошел человек. А не бог его создал. Бога выдумал сам человек намного позже и стал ему молиться, потому что еще ничего не знал и всего боялся....

— Хм. Интересно, — сказал отец и задумался.

Что он задумался, мне тоже понравилось; обнадеживающий признак. Вот если бы он стал резко возражать, то это было бы плохим признаком.

— Все люди от обезьяны? — полюбопытствовал отец.

— Все, — ответил я с учительским достоинством и глубоким удовлетворением: задает вопросы, значит, действительно заинтересовался моим рассказом.

— Интересно, — снова сказал отец и позвал мать, которая зачём-то отошла к печке: — Родионовна?

— Ну?— подошла мать.

— Повернись-ка к свету,— велел отец и стал рассматривать ее и так и этак, потом, дернув плечом, деланно удивился:— Вот те на!

— Что? — спросила мать, ничего не понимая, как, впрочем, и я.

— И куда я смотрел, когда женился? Вот сын говорит, что ты — обезьяна.

— Не так я говорил! — запротестовал я.

— Но ты же от нее. Она тебя родила.

Я решил, что настало время побить отца его же козырем.

— Ты говоришь, что Энгельс умный человек...

— Умный,— подтвердил отец.

— Вот он и доказал, что человек произошел от обезьяны.

— Он сам видел ту обезьяну? — съязвил отец.

— Ученые...

Отец нацелил в меня длинный заскорузлый указательный палец:

— Яйца курицу учат!..

От того настроя, с которым я начал свою беседу, остались одни черепки. Я вскипел:

— А ты пережиток прошлого!..

— Дур-р-рак! Фор-р-рменный дур-р-рак! Ешь да пойдем стайку чистить. Вот там и увидим, от кого ты родился: от своей матери или от обезьяны, которая палкой яблоки сбивала!— Помедлив, добавил: — Потому что лень было на дерево залезть...

Я понял, что мой первый урок преподавания истинного знания закончился и другого уже не будет.

Выпив два стакана горячего чая, отец поостыл. Покопился на меня вполне миролюбиво раз, покопился другой.

— Я, сынок, человек ранешный, говорю, крещеный. А ты — учись, как учат. По Энгельсу. Шибко умный был человек...

Я СПАЛ и видел что-то противное. А в голове — боль. И сон на ниточке. Отца услышал сразу.

— Володя... Кеннеди убили...

Всполошился.

— Сейчас по радио передали... Мер-завцы! — махнул рукой и ушел в другую комнату. Оттуда глухо, сквозь слезы:

— Ну капиталист он и все такое, но убили-то — человека!..

Человека убили! И в этом для отца вся непостижимость американской трагедии...

Заявление районному прокурору. С 1952 года я являюсь членом колхоза «Сталинский путь». Моя работа заключается в приготовлении и ремонте сбруи для гужевого транспорта.

Ряд лет колхоз самовольно забирает накошенное мною для личного скота сено. Осенью 1956 года по санкции бригадира Ф. А. Барсукова был взят у меня стог сена в 16 центнеров и дано распоряжение зав. животноводческой фермой т. Михееву возратить мне сено. Но спустя некоторое время в возврате сена мне отказали. Через посредство сельсовета мне привезли 3 центнера негодной для кормления скота соломы и 1,5 центнера сена, а в остальном правление колхоза отказало. Я предъявил колхозу гражданский иск через народный суд, для чего выставил свидетелей. Суд состоялся, но на него не были вызваны мои свидетели, и суд вынес решение начислить мне трудодни за изъятое сено, накошенное мною, стариком, на неудобнице уже после того, как сенокосная пора закончилась. Трудодни — это хорошо, но ими корову не накормишь...

ПОЯСНЕНИЕ. Я не припомню года во второй половине пятидесятых, чтобы наше сено не увозили на общественный скотный двор. Почему именно наше? Как старику, отцу выделили покос возле самого села, в каких-нибудь трехстах метрах от нашего дома. Стог метали в ложбине, у самой дороги, чтобы нетрудно было вывозить.

С наступлением осенней распутицы — а она, как правило, совпадала с октябрьскими праздниками, когда колхозники предавались веселью, — на скотном дворе стоял печальный, бередящий душу рев. Филипп Алексеевич Барсуков был вообще человеком не без сердца, а во хмелю — его, кстати, почти нормальное состояние — душа бригадира становилась и вовсе шоколадной. Плакал горячими слезами, причитал:

— Коровенушк-и-и! Да разве ж мне вас не жалко... Милаи-и-и...

И кому-нибудь из молодых парней отдавал распоряжение хоть свезти, хоть сволочь, уж как там сумеете, наш стог на ферму.

— Апосля отдадим... — вытирал слезы, просветленно улыбался. — Скотину ить любить и жалеть надо.

После «апосля» было еще одно «апосля», а там начались метели, за ними — морозы. Уже где-то к середине зимы выяснялось, что сена в колхозе в лучшем случае только-только или даже не хватит, так что уже никакой прокурор отцу помочь не мог.

— Плут! Пьяница! Мошенник! — костерил отец Барсукова. — Дохозяиновался! Стариковским сеном колхозных коров кормит...

Так было, говорю, каждый божий год. В конце концов отец вынужден был вернуться на свой старый покос — километра за четыре. Далековато, конечно, но зато с сеном зимовал.

ВЕСНОЙ ТОГО САМОГО ГОДА, когда отец судился с колхозом, но высудил лишь трудодни, которые, разумеется, в ясли корове не положишь, приезжаю на воскресенье — в техникуме учился — домой — во дворе овцы. Пять штук. Худые, паршивые, шерсть клочьями.

— Откуда? — спросил у отца.

— Колхозные.

— Зачем?

— Совсем плохо с кормами,— вздохнул горестно.—
Раздали по дворам.

— А у тебя, значит, излишки кормов?

— Немножко подкупили, немножко люди добрые дали. Как-нибудь до травы, бог даст, дотянем.

— Выходит, тебя ударили по одной щеке, а ты...

— Сынок,— спокойно, но твердо оборвал меня отец,— скотина тут ни при чем. Овечки сено наше только ели, а не увозили.

— Может, и Барсуков ни при чем?

— А если хочешь — то и Барсуков.

— Пьяница он и мошенник,— вспомнил я слова отца.

— Может, потому и пьяница, и мошенник, что — ни при чем. Ему тоже не позавидуешь. Сверху давят, снизу жмут. Как в клещах. Ну, как там у тебя дела?..

ЧЕГО НЕ ЛЮБИЛ отец в людях, так это хвастовства, глупости и жадности со скупостью. Когда эти пороки сочтались в одном человеке, отец говорил: «С троицей».

Жили у нас отдыхающие из Новокузнецка. Муж, жена и маленькая девочка. Фамилия их была Чудиновы. Дня через два, как стали они у нас жить, отец, не знаю, на основании чего, заключил:

— Скупой народ. Она еще, может, не так, а Сергей Петрович — страш-ш-шно скупой!

Сергей Петрович был страстным охотником. И, надо сказать, удачливым. Утром, еще затемно, уходил на озеро, а близко к полудню возвращался с двумя-тремя подстреленными утками.

— Молодец, Петрович,— хвалил его отец.— А я вот ни рыбаком, ни охотником не был.

— Этим заразиться никогда не поздно. Идемте завтра,— шутливо приглашал Сергей Петрович.— Там и ваши утки крикают.

— Куда уж мне,— отмахивался отец.— А уток моих доверяю тебе подстрелить...

И у них началось нечто вроде игры. Во всяком случае со стороны отца.

Сергей Петрович возвращался с охоты, показывал трофеи, хвалился — любил похвалиться:

— Вот эту — в лет, а эту — на воде...

— А которая из них — моя? — интересовался отец.

— Ваша? Ваша, Федор Петрович, улетела. — И дачник самодовольно смеялся.

— Улетела? От, сатана! — отец тоже смеялся. — А я-то думал, сегодня супца с утятинной похлебаю.

На другой день:

— Ну сегодня-то, поди, точно мою принес.

— Только нацелился — улетела.

— Жалко.

И на следующий день:

— Никак опять улетела...

— Представьте себе, улетела...

Сергей Петрович нес уток жене — общипывать и потрошить. Отец ухмылялся, вертел головой, будто назойливых комаров отгонял:

— Ой, скупой! Ой, скупой! — И, кажется, даже испытывал наслаждение, что «его» утка все «улетает» и «улетает», а возьми Сергей Петрович да протяни ему хоть чирочка, и отец, наверное, разочаровался бы в нем как в партнере, и игра потеряла бы всякий смысл. — Скупо-о-ой. И как бы не с троицей.

Чудиновы были, пожалуй, единственными из многочисленных наших квартирантов, отдыхающих и ночевальщиков, с которыми отец не подружился и которыми не торговался.

Однажды глубокой осенью, в воскресенье, Чудинов приехал охотиться на зайцев. Из леса зашел к нам. От чая отказался, сославшись на то, что спешит к поезду, зашел всего лишь на минутку, чтобы, мол, справиться о здоровье стариков.

Но прошло и десять минут, и полчаса, а Сергей Петрович не уходил. Вел себя он как-то странно. Никакой активности в разговоре не проявлял. Только отвечал односложно на вопросы отца и Александры Михеевны. То и дело нетерпеливо поглядывал на наручные часы. Сначала поглядывал на часы, потом переводил пристальный и тоскливый взгляд на лавку возле печки. На часы, потом — на лавку. Что он там такое особенное видел, было не понять. Ну ведро с водой, рядом с ним обычная эмалированная зеленая кружка, столовый ножик, скалка — вот и все.

«Может, пить хочет?» — подумал я и заметил, что и Александра Михеевна тоже: то посмотрит украдкой на лавку, то на бывшего дачника. И вроде как она немножко смущена, что-то про себя решает, но никак не может решить.

— Значит, Петрович, зайцы и твои и мои по лесу гуляют?

— Гуляют.— Сергей Петрович мельком глянул на часы, с них перевел тоскливый взор на лавку.

Александра Михеевна тоже посмотрела на лавку, потом, все решая что-то, на Чудинова. Между ними, походило, тоже шла какая-то одним им понятная игра.

— Приезжай по снегу. Может, лучше возьмешь их,— посоветовал отец.

— Приеду. По снегу-то я их...— не удержался похватать и, глянув на часы и нервно ерзнув на табуретке, уставился на лавку. Нарочито, даже вызывающе грустно.

Заметив это, Александра Михеевна совсем ступсела и поторопилась спросить, наверное, первое, что пришло в голову:

— Как там Вера Михайловна поживает? Недавно я ее вспоминала.

— Спасибо, жива-здорова. Работает.— Тут Чудинов и чему-то обрадовался, и чего-то замялся.— Знаете...— изобразил на лице жалкое подобие улыбки,— привыкла... А привычка, сами понимаете... В общем, тоскует...

— По нашему бору, по воздуху? — поинтересовался отец.

— Мы у вас кружку в спешке забыли. А Вера привыкла к ней, скучает. Хе-хе... И по бору тоже.

Александра Михеевна на мгновение растерялась, но тут же нашлась, всплеснула руками.

— О, господи! Помнила же! А заговорились и забыла, — метнулась к лавке и с постным видом подала Сергею Петровичу зеленую эмалированную кружку, какие в избытке стоят в любом хозяйственном магазине — хоть городском, хоть сельском. Впрочем, в магазине не совсем такие, там новые, а эта уже отживала свой век: на изгибе, где дно переходит в стенку, было черное пятно — откололась эмаль. Едва ли уже эта кружка «впишется в интерьер» квартиры Чудиновых. Летом Сергей Петрович все похвалялся: у нас интерьер, интерьер. Такой-то, самый современный, радиоприемник, столько-то персидских и китайских ковров, чешский хрусталь, японские тарелки и чашки... А то ли еще будет! Потому что он сам и его Вера получают, как получают немногие, на будущее лето прикатят к нам на собственной «Победе»...

— Вы уехали, а я говорю: кружку-то забыли, — оправдывалась Александра Михеевна.

— Спасибо.— Чудинов проворно встал, сунул любимую Веры Михайловны кружку в кармашек рюкзака.— Ну побегу, а то опоздаю.

— Да теперь уж опоздал, Петрович. Садись, сказку расскажу.

— Сказку?— удивился Чудинов.

— Коротенькую, но интересную. Хохол с хохлушкой привезли на ярмарку поросят. Распродали. Хохол говорит жинке: «Я пойду в шинок, выпью горилки. А ты на возу сиди. Да гроши хорошенько спрячь». — «Иди. Спрятала уже».

Ушел хохол в шинок, а жинка на возу сидит. Подходит парубок, молодой, красивый.

«Какая ты,— говорит,— хорошая жинка. Такая ж хорошая. И цицьки у тебя... Дашь потрогать — червонец дам...»

Хохлушка сообразила: за потрогать — червонец. Это же, считай, задарма...

Приходит мужик из шинка, жинка хвалится:

«Ты пропила, а я заработала». — «Как?» — «А вот так...»

И рассказала.

Хохол ударил шапкой об землю. «Теперь поищи. Найдешь ты там наши гроши...» Ты бы, Петрович, сразу, с порога так и сказал бы, мол, за кружкой я, а не за зайцами и не про здоровье ваше узнавать. И успел бы на поезд. Теперь утренним поедешь.

— Может, успею.— Чудинов закинул рюкзак за плечо и ушел.

Отец посмотрел на ходики и стал прислушиваться. Вскоре — Чудинов наверняка и до парома не успел дойти — раздался паровозный гудок.

— Опоздал! — сказал отец почти восторженно. — С тро-о-олицей человек... — Язвительно глянул на Александру Михеевну. — Теперь ты по кружке скучать да сохнуть будешь? Поди, тоже привыкла, — засмеялся. — Ой, скупой вы народ, ой, жадный...

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ, как однажды в Калтане на базаре торговал он рано утром яйцами, а рядом с ним бабенка, еще не старая, — молоком. Стоит та бабенка, зазывает покупателей:

— Свеженькое! Свеженькое! По дешевочке: полполтинки поллитровочка!..

А народу на базаре, считай, никого — будний день. Только три потрепаненьких мужичка возле пивнушки. Дожидаются, когда пиво привезут. Одному — аж серый весь, — видно, совсем невмоготу. Хоть чего давай, лишь бы пилося. Подошел к соседке отца, купил «по дешевочке поллитровочку», отхлебнул и говорит:

— А молочко-то, тетка, это...

— Что? — тетка уши навестила.

— Говорю, кислое, как бр-р-р...

— А чтоб тебе, калаголик, язык отсох и скрючился! — взъерошилась она. — Утром доила, когда б ему, басурман, прокиснуть!

— Когда — того я, тетка, не ведаю. Главное — выпил и полегчало. Даже лучше, чем после бражки.

Тетка от радости руками всплеснула и даже присела.

— Полегчало?! Ах, благодать-то какая! Так ты еще баночку, еще легче будет. Пей. По дешевочке... Эй, мужички! Подходите! Простоквашка! Лучше бражки! По дешевочке! Полполт... Тьфу, сатана!.. Говорю, по полтинке поллитровочка!..

— Ну, ловка! — смеялся отец. — Такая из-под стоячего подошву оторвет. За рубль на кривое шило сядет и не ойкнет, а тройку пообещай, так еще и крутнется.

ЕЩЕ ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ. Шли домой на побывку два солдата — Иван да Степан. Заходят в какое-то село. Степан говорит:

— У меня тут теща живет. Зайдем пообедаем.

Зашли. Теща обрадовалась. Из трех зятевей Степан у нее самый любимый. Все лучшее — на стол. Все лучшие слова — ему.

— Садись-ка, Степанушка, родненький, покушай. Да и ты, солдатик, присел бы.

Зятю теща — вилку, солдату — чего с ним церемониться — ложку. Присела с краешку и потчует:

— Кушай, Степанушка, кушай. А ты солдатик — ешь.

Погостили у тещи, пошли дальше.

— А хорошая у тебя теща, приветливая, — сказал Иван и на две дырочки ремень ослабил.

— А до твоей далече ли? — скучно спросил Степан и затянул свой ремень потуже.

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Однажды пришел к нам в гости племянник Александры Михеевны Генка Корсаков, мальчишка лет десяти.

— Здрасьте.

— Здравствуй. Садись, Геннадий, со мной чай пить,— пригласил отец.

Генка сел. Отец налил ему стакан чаю, подвинул поближе сахарницу.

— Накладывай, сколько любишь. Мать жива-здоровая?

— Да нормально.— Генка положил в чай ложку сахара.

— А как отец?

— Да нормально,— положил вторую ложку сахара.

— Учишься-то как?

— Да нормально,— положил третью ложку сахара.

— Колов много получаешь?

— Да...— Генка хотел зачерпнуть четвертую ложку сахара, но сахарницы возле него уже не было, отец убрал ее на другой край стола.

— Я, к примеру, Геннадий, шибко сладкий не люблю. Колы-то только в тетрадках или и в дневнике есть?..

Это между прочим вспомнилось, вот и рассказал...

Глава 3

ПЕРВЕЕ ПЕРВОГО

ОТВЕТ. Косить мне нравилось в нежаркий пасмурный день — или на закате солнца, или на восходе. Лучше всего на восходе.

Чистое и румяное солнце, будто умытое росами, сквозь ветви деревьев брызжет красными стрелами лучей. Горох росы перекатывается в лотках листьев, сыплется на лезвие косы и разбивается, радушно светясь. Легкий ветерок, обдав мое лицо свежестью, мчитс я куда-то еще.

Руки мои сильные, коса в них кажется легкой и послушной. С сочной мягкостью срезает она податливые

стебли, укладывает их в пышный валок. Тело гибко-пружинистое, кипит кровь в жилах, и прокос становится шире, еще шире... Уж больше и некуда, но еще б чуток: в груди все разгорается и теснится буйный азарт...

Но не сыскать, не придумать работы каторжнее, чем косьба в жаркий полдень. Солнце стоит над головой и — ни с места, будто привязанное. Палит — немилосердно. Воздух тяжел, горяч и неподвижен. Утреннего ветерка и в помине нет. Разомлел в этом пекле и забился, спрятался куда-нибудь в чащобу.

Коса отяжелела. Как ни точи ее — скрежещет и в бессилии визжит от сухой жесткости травы. Да и будто не трава это — стальная щетина. Пот катит градом. Щиплет глаза, щиплет царапины и ссадины. А вокруг вьются назойливые мухи, пауты, оводы — лезут в лицо, норовят цапнуть за голую спину...

Пока добьешь прокос донизу — изнервничаешься. Сердце от напряжения и духоты стучит молотом и, кажется, вот-вот вырвется наружу. Набухшие руки нудят в запястьях. Отбросишь опостылевшую косу — и к ручью. Напьешься студеной водицы, окунешь голову, ополоснешь грудь, плечи и заползешь под прибрежные кусты ивняка. Здесь сыро и прохладно. И ветерок, оказывается, тут же хоронится. Он тоже изнемог и едва-едва сквозит. Мало-помалу тело остывает, дыхание выравнивается, сердце унимается, входит в привычный ритм. По телу разливается приятная истома... Хорошо. Вот так бы и сидел до самого вечера. Но где там. Отец сейчас позовет:

— Давай, давай, сын, — и пошурится на солнце.

И опять вскинешь косу на плечо и потащишься наверх. Эх, жизнь ты, жизнь, гнутая копейка... А может, не спохватится меня отец, не обратит внимания, не заметит?..

И точно. Его коса в последний раз тивкнула почти у самых моих вытянутых ног, и, медленно удаляясь, калоши отца захлопали по стерне. Отцу зной нипочем. Ни устали он не знает, ни жажда его не мучает. Но отчего-то мне

становится жалко его. И себя тоже. Всех людей на земле мне жалко: не знают ни покоя, ни отдыха. Даже в такую вот духотень. Без конца у них дела, дела. Даже поговорку придумали: за делами и помереть будет некогда. Неужели вот так же и я, когда вырасту?..

Нет, моя жизнь будет совсем иной: красивой, интересной, счастливой... Мое воображение пробудилось, и вот уже потекли приятные и легкие, как утренний туманец над рекой, мечты о моем счастливом и прекрасном будущем...

Признаюсь, сейчас немножко и смешно и грустно вспоминать это. Тогда же... Впрочем, тогда мне было всего двенадцать лет...

Мое будущее рисовалось мне трехцветным. Оно голубое, как это безоблачное небо надо мной, розовое, как лепестки шиповника или марьиных кореньев, и белое, как крылышки порхающих над цветами бабочек. И в этом трехцветье — я.

Я, как писали в ранешних романах, очень недурен собой. На мне элегантный костюм, модная шляпа, красивые модельные штиблеты... Ну и все прочее — тоже элегантное, модное, красивое. И непременно на грациозно согнутой в локте руке — изящная трость. Непременно!..

Я фланирую по красивому городу. Розовым вечером спускаюсь к голубому морю, у причала белый пароход...

Ночь. Пароход разрезает волны и легко мчитя вперед. Ветер полощет мои волосы, я слушаю чудную музыку и думаю, я смущаюсь, но мне и желанно об этом думать — о том, что где-то есть Она. Бело-розово-голубая, с которой мы вскоре встретимся. Так я хочу. Назло всему черно-серо-грязному, на зависть всем охающим в этой жизни я буду счастлив!..

Счастье, счастливый, счастливчик... Эти слова мне тоже представлялись бело-розово-голубыми. А у всех людей они... И вдруг я обнаружил неувязочку. Ведь сначала появляется то, что обозначают слова, а уж потом сами сло-

ва. А иначе как? Сначала люди добыли огонь, а уж потом назвали огнем, сначала сделали косу, а потом назвали ее косой. Никто не станет зря придумывать слов, которые ничего не обозначают. Значит, сначала люди должны были испытать счастье, а потом назвать его счастьем. А коль есть оно, счастье, рассуждал я дальше, то должны быть и счастливые. Но где они? В нашем селе я таких не видел, не знаю. Все с утра до ночи суетятся, куда-то торопятся, терпят разные беды, плачут, жалуется на судьбу. Какие же это счастливые?.. Странно получается: счастливых нет, а слово «счастье» и все другие с этим корнем есть. Как же так?

Вопрос требовал немедленного ответа. Надо спросить у отца. Он пережил и перевидел многое на своем веку.

Прогоняя без меня уже четвертый или пятый прокос, отец остановился поточить косу.

— Пап,— окликнул я его, приподняв куст.

— Ну?

— Пап, скажи, счастливые люди есть?

Отец трясущимися от напряжения руками вытер подолом исподней рубахи потное лицо, скользнул глазами по косогору, который нам нужно было выкосить до вечера, пощурился на солнышко — высоко ли стоит? — сказал тоскливо:

— Откуда им взяться, сынок...

Во рту отца, наверное, было сухо, потому что голос его прозвучал хрипло и немощно. А еще в его голосе я расслышал нечто такое, что заставило меня быстро — медлить было не в моих интересах — подняться и тоже взять косу.

...Недели через две мы метали стог. С самого утра парило, по небу плыли грядями белые облака. А после полудня из «гнилого угла» стало доноситься все приближающееся рокотание грома, из-за леса вылез край мутной тучи, стреляя молниями, она напористо ползла на нас.

— Топчи, топчи, сынок,— с беспокойством говорил мне отец, подхватывал новый навильник сена и подавал на

стог.— Середку набивай потуже, середку, а то вон контроль идет.

Путаясь в сене, я кругом ходил по стогу. Стог подрагивал и слегка покачивался. Едва отец бросил мне под ноги последний, «на гниль», навильник сена и подал связанные парами ветреницы, налетел вихрь, земля мгновенно покрылась мраком. По команде грянувшего почти над самой моей головой грома ливанул дождь. Я комком скатился со стога, и мы с отцом кинулись в балаган.

— Слава богу, в самый раз управились,— легко, без усталости сказал отец.

Мы сидели друг подле друга и молча смотрели, как дождь причесывает, прихорашивает ершистые бока нашего стога, который, казалось, испытывает такое же удовольствие, какое испытывает сытый поросенок, когда ему почесывают за ушами и спину.

— Вот ты спрашиваешь про счастливых людей,— отец тронул меня за руку.— Да куда ж бы им деться, сынок! Дождь вот как из ведра, а нам и горя мало. Пусть горюют те, у кого сено в валках осталось. А мы спроворились, убрали свое. И счастливее нас с тобой нет сейчас.— Отец засмеялся коротко, но весело, свободно и обнял меня за плечи.

И в самом деле, оттого, что кругом дождь, сырость, мрак, а здесь, в шалаше, сухо и тепло, а еще оттого, что больше не нужно будет ни косить, ни грести, ни складывать копны, на душе было уютно и светло. Пусть себе идет дождь, мы можем сидеть вот так долго, сколько захочется — ничто нас не торопит.

— Отдохнем, сынок, день-два — после дела и гулять хорошо,— продолжал отец,— да и начнем помаленьку дрова резать, чтоб сохли, а то потом некогда будет, придет пора огород убирать.

От мысли, что через два дня мы с отцом уже будем пилить дрова, а разделившись с ними, начнем копать картошку, срезать и обмолачивать подсолнухи, собирать тык-

вы, рубить капусту — от этой мысли глубоко в душе шевельнулась грустинка. Но она не была так сильна, чтобы заглушить во мне ощущение легкости и уюта и еще чего-то такого, что, несмотря на непогоду и мрак, все-таки освещало душу теплым светом...

Вспомнилось вдруг, как однажды я спросил у отца:

— Пап, чего в твоей жизни больше было: хорошего или плохого?

— Не знаю, сын, некогда было считать: всю жизнь я работал. — Помедлил чуть. — И слава богу.

В КАЖДЫЙ ПРИЕЗД мой старший брат Петр говорил отцу:

— Папа, неужели вам еще не надоело в навозе ковыряться? Бросайте все и переезжайте ко мне...

— И что будет?

— Будете жить в свое удовольствие, без всяких хлопот.

— Конечно, спасибо тебе, Петр Федорович, да только старому человеку на одном меду не прожить. Иногда ведь и хренку хочется.

— Если б иногда. А то вы с утра и до ночи. И каждый день. Без отдыха.

— Вот немножко управлюсь, сынок, и поеду по гостям: недельку у тебя поживу, недельку у Тани, недельку у Володи. Оно тоже правда: когда все хрен да хрен, так мед потом такой сладкий.

— Уже сколько раз вы мне обещали: управлюсь — приеду...

— Дела, сын, не пускают. Управишься с одним, скажешь: ну, все, конец. Глядь, а тут уже какое-нибудь новое начало. Вот так и живем: конец—начало, конец—начало... Без конца. — И засмеялся тоненько.

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКУРА НА ПОКОСЕ дядя Степан Скрябин (помогал нам косить) и отец рассуждают:

Скрябин. Тяжело коровку-то держать: не те годы.

Отец. Да. Продавать надо или глотку ножом...

С к р я б и н. Вон Груздевы, взяли и продали. Покупают у нас два литра в день — и хватает.

О т е ц. Правильно. И не надо ни косить, ни назем чистить, ни поить. Отдал денежки — и спокоен.

С к р я б и н. А тут ни дня отдыха. Косишь, возишь, ухаживаешь.

О т е ц. За подножное — отдай, пастуху — отдай, наймешь косить — отдай... Все отдай да отдай.

С к р я б и н. Но куда ты денешься? Без коровы тоже трудно.

О т е ц. Никак нельзя без коровки. Коровка есть — и молочко есть, и творожок, и маслице. Продашь молочка — и копейка на хлеб есть. А где ты ее, копейку, возьмешь? Пенсию-то раз в месяц приносят.

С к р я б и н. Все купить надо. А без коровы еще и молоко покупай.

О т е ц. Купленное — не молоко.

С к р я б и н. Да вон, говорю, Груздевы. Продали корову, берут у нас два литра в день. А семья — пятеро. По стакану выпили — вот тебе уже литра и нет. Без коровы никак нельзя. Только вот силы, говорю, не те. Старость — не младость.

О т е ц. Вот и получается: корова нам с тобой что корзина без ручки: и тащить тяжело, и бросить жалко.

С к р я б и н. Верно: и жалко, и тяжело.

О т е ц. Бросим, так ведь соскучимся на другой же день. А там и вовсе захиреем. Делать-то что-то же надо. Не сидеть же сложа руки. Нее-е-ет, лучше уж на корову каторжничать. Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет. Вот оно в чем секрет-то...

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ. Когда мы с Родионовной молодые были, дня нам, как жадному денег, не хватало. Так мы повадились у ночи время займы брать. Ребятишек пораньше накормим, напоим, спать поукладываем — и айда: хлеб молотить, саман месить или еще что. Хорошо ночью работается, споро. Работа ведь что семечки: втянул-

ся — никак не бросишь. Кругом тишина, а нас трое: Родионовна, я да месяц. И так хорошо...

Иногда отец варьировал:

— Кругом тишина, а нас трое: Родионовна, да я, да бог с нами.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ мы шли с отцом краем бора на покос сгребать и складывать в копны сено. А в это время в бору, на стадионе собиралась молодежь на районный фестиваль. Мои друзья будут слушать песни, играть в разные игры, танцевать с девчатами, а я буду целый день умываться потом да слушать, как шуршит сено. Разве не обидно?

— Пап, ну давай завтра пойдем. Петька с Юркой обещали помочь.

— Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Слышал такую поговорку?

С самого утра уламываю отца. Ни в какую. И я рассердился.

— А ты слышал, что в воскресенье работать — большой грех?

— Грех безделье, а не работа, — возразил отец и рассказал мне притчу.

И пришли ученики ко Христу и сказали ему:

— Воскресенье должно отдавать прославлению Господа нашего, а хозяин полез в колодец, дабы вытащить упавшего в него тельца.

И стали ждать, что ответит Христос.

И Христос сказал:

— Истинно говорите, хозяин мог бы подождать до понедельника, но стал ли бы ждать до понедельника телец в колодце?

Давай, сын, ждать понедельника. А вот станет ли ждать понедельника погода? — И, выждав несколько секунд, добавил: — А еще в народе говорят: у ленивого Емели семь воскресений на неделе.

КОГДА Я ОЧИСТИЛ ДВОР от всякого хлама — по собственной воле очистил, никто не заставлял, — отец похвалил меня, понюхал табаку, спросил:

— У работы есть привычка такая: за человеком ходить. Вот за тобой увяжется, как ты с ней поступишь?

— Просто, — засмеялся я, — убегу на речку купаться.

— Ловко ты, сын. Но она тебя и там найдет... Так вот научу. Чтобы она за тобой не ходила — ходи ты за ней. И делай. Да делай хорошо, плохо само получится.

В другой раз отец сказал:

— Работа — уж я ее повадки знаю — разная, хитрая бывает. Видит, что ты за ней ходишь, норовит в прятушки с тобой играть. Твоя задача — перехитрить ее... Это позапрошлым летом у нас отдыхающий из Новокузнецка жил. Георгий Михайлович. Инженер-ученый. В первый день спрашивает:

— Чем тут у вас, Федор Петрович, позабавиться можно?

— А что тебе, — спрашиваю, — нравится: рыбалка, охота, грибы?

А он:

— Все нравится, только чтоб это не моя работа была, будь она неладна.

Целую неделю рыбу ловил, за грибами ходил, купался, дрова помогал мне колоть. Веселый такой был. А потом что-то затосковал. Дальше — больше.

— Чего, — спрашиваю, — Георгий Михайлович, журишься? Или тебе плохо у нас?

Ничего не сказал. Пошел рыбачить. Наверно, и полчасика не прошло — назад рысью бежит. И без удочек.

— Удочки-то, — спрашиваю, — где?

А он:

— Нашел, — кричит, — нашел!.. — А у самого глаза... Я даже напугался.

— Что нашел-то?

— Решение, Федор Петрович, нашел...

Рубаху, штаны скинул, выходной костюм надел — и живо на поезд.

Через неделю приезжает. Опять веселый.

— Все,— говорит,— Федор Петрович, самым лучшим образом получилось. Целый год мысль искал — не мог найти. Здесь, в деревне у вас, сама пришла.

Во как! Работа у него, рассказывал, шибко даже хитрая. Для производства что-то придумывает. Машину какую-то. Дело — куда хитрей. Так Георгий Михайлович перехитрил: приехал сюда и никакую мысль не ищет, ни о чем не думает, а мысль-то, раз он про нее забыл, сама и явилась, мол, вот она я.

— Наоборот,— возразил я,— как раз здесь-то он и думал.

— Так в том-то и вся хитрость, сын,— засмеялся отец, довольный своим рассказом.

ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК Александры Михеевны присмотрел в нашем селе молодую разведенку, однако жениться не решался. Отец с Александрой Михеевной нашли заделье, пошли посмотреть невесту. Когда вернулись, Александра Михеевна засомневалась:

— Избенка покосилась. Да и в избенке ничего такого. Сама невидненькая из себя, двое детей. Не советовала бы я ему. Мало ли девок...

Отец молча выслушал это и сказал:

— А я — будь она постарше, а я помоложе, — женился бы не на тебе, а на ней. Взял бы, посадил на ладошку и носил бы вот так. Это ж золотая женщина! Хозяйка! В руках все так и горит. В огороде у нее порядок, в доме порядок, на производстве работает — и там, конечно, порядок, дети чистые, послушные... Кто ты ей? А она — ты еще только калитку открыла — уже чай на стол. И куда посадить тебя, не знает... Невидненькая, говоришь? А я что-то и не рассмотрел. Работница! Над всяким делом царица! — вот это я увидел.

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ. Приехал на завод сам нар-

ком. Пришел в кабинет директора — пусто. Секретарша говорит: на производстве директор. Пошел нарком на производство. У одного рабочего спрашивает:

— Где тут ваш директор?

— А только что туда, в другой цех, пошел.

Нарком — в другой цех. Навстречу ему человек. Берем древесных стружек несет, такое огромное, что и лица не видно. Ну и задел наркома. Одна стружечка прицепилась к пуговице наркомова пиджака. Нарком сбросил ее, пошел дальше.

— Где ваш директор? — спрашивает в другом цехе.

— А только что туда пошел, — показали ему на первый цех. — Вы же должны были с ним встретиться.

Повернул нарком назад, на том же самом месте встречается тот же самый человек, что стружку нес.

— Директора, товарищ, не видел?

— Я директор, — сказал человек, наклонился и поднял с пола стружечку, что к наркомовой пуговице прицепилась.

— Очень приятно, — протянул нарком директору руку. — А я подумал, что ты какой-нибудь простой работник.

— У каждого человека, товарищ нарком, один чин — работник.

— Верно. Мой дед тоже говорил: работа — не баба, чинов не различает — каждому дается, кто к ней ни подступится.

С тех пор директор и нарком стали лучшими друзьями...

— Зря, — сказал я. — Сегодня такого директора просто выгнали бы.

Отец поразмыслил.

— И правильно, наверно, бы сделали. Только я ж тебе не про сегодня... И, может, вовсе не про директора.

МЫ БЫЛИ НА НЕВСКОМ. Мой брат Петр Федорович посмотрел на часы.

— Без двенадцати минут...

Завтра у нас не было — я уезжал из Ленинграда этой ночью.

— Успеем,— азартно сказали мы враз и опрометью помчались к метро...

Мы не успели. Я взялся за ручку двери Петропавловского собора — усыпальницы русских императоров — в момент, когда пожилая женщина задвинула изнутри запор.

— Впустите! — почти в отчаянии крикнули мы ей через стекло.

Женщина показала на часы — мол, ровно — и сожалеюще развела руками.

— Мамаша, мы из Сибири,— фальцетом взмолился брат.

По ту сторону двери едва ли могли быть услышаны его слова, однако женщина, возможно, представив наше разочарование, улыбнулась и впустила нас, предупредив:

— Только на минуту. И проходите прямо к Петру.

Мы остановились перед кургузым, темного мрамора саркофагом и слегка склонили обнаженные головы. Глаза мои стали требовать, чтобы я чему-то удивился. Чему?.. Ах, цветы. На гробнице Петра Первого стоял скромный горшочек с распустившимся алым цветком, возле горшочка — три уже подвявших тюльпана. Я медленным взглядом обвел другие саркофаги, теснящиеся вдоль стен усыпальницы. При всей своей разности они показались мне одинаковыми: холодно-надменными, мертвыми. А над Петром Первым был знак жизни — цветы.

Удивляться я не стал. Мне вспомнилось, как отец, бывало, спрашивал меня с хитрым прищуром:

— Петр Первый кто такой был, по-твоему?

Чтобы доставить отцу маленькое удовольствие, я шел на его уловку, отвечал простодушно:

— Царь. Разве не знаешь?

— Не я, ты — не знаешь. Мужик на царском троне — вот кто он был. И столяр, и кузнец, и плотник, и пушкарь,

а уж только потом — государь. Таких ни до него, ни после не было. Недаром Петр, да еще и Первый...

На гробнице Петра Первого — цветы? А что в этом удивительного?

НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ—всего каких-нибудь три недели назад — я и мой давнишний друг Иван Кондратьевич Загоруй сидели на кладбищенской горе и смотрели на мое родное село, лучше которого, конечно же, не сыскать во всем подлунном мире. Задумчивый могучий бор. Речистая извилистая речушка Теш. Моя школа. Мой дом. Тополя, посаженные моими руками...

— А что это — коровник? — Иван Кондратьевич — Горожаном Горожановичем называет он себя, а меня — Горожаном Селяниновичем — указал на приземистое, дикого камня, вытянувшееся от самого берега Теша и почти до подошвы горы, на которой мы сидели, строение.

— Коровник.

— Коро-о-овник,— протянул Горожан Горожанович насмешливо и насмешливо же посмотрел на меня.— Это какому же мудрому Селянину Селяниновичу пришло в голову поставить его именно здесь? Вон, видишь?— указал на трактор с тележкой, буксующий в громадной разливистой луже. Лужа та соединялась коротким проливчиком с другой лужей, еще разливистой, та — с третьей. Лужи оцепили коровник со всех сторон, и создавалось впечатление, что стоит он на неприступном острове. В загоне с трудом, по колено в навозной жиже, лезали молодые бычки и телки.

— Вижу,— сказал я.— А что?

— Как что?!— Иван Кондратьевич не уловил в моем голосе скрытой иронии и смотрел на меня уже не насмешливо, а почти враждебно.— Когда я служил в армии (мой друг на тринадцать лет старше меня), мы срыли наполовину гору, чтоб построить конюшню. Конюшню! А вы коров — коров! — поселили на болоте! Сколько лет тому умнику дали?

— Новокузнецк, между прочим, тоже на болоте построен. И ничего...

Он опять не заметил — коль я скрывал — моей иронии и взъярился, замахал руками:

— Ты что сравниваешь! Город и коровник. В городе люди живут, в коровнике — коровы! Ты хоть раз в жизни, Горожан Селянинович, коровье копыто видел?! Ты знаешь, что корова где ест там и...

— Для педагога нервы — прежде всего. Успокойся. А я тебе расскажу...

И я рассказал, как однажды дед Волосников забежал с конного двора к отцу понюхать табачку и сообщил, что колхоз будет строить новый коровник. И не какой-нибудь, а из камня и с автопоилками. Строить будут на поляне возле Хрущевых.

— Не брешь, брехун старый.

— Истинный бог! — яростно перекрестился дед. — Государство уже и деньги дает...

— Я говорю, не брешь, что возле Хрущевых. Дураком надо быть.

Дед развел руками: мол, что слышал, то и сказал.

И вот как-то летом на поляну возле Хрущевых, действительно, пришли председатель колхоза Игнатий Молчанов, другие колхозные начальники, несколько рабочих-шефов и стали вымерять поляну шнуром и вбивать колышки. Сбежались ребятишки, сошлись колхозники, кто жил или оказался поблизости, — все-таки событие не рядовое: новый, каменный, с автопоилками коровник начинают строить! Пришел в фартуке — как раз шорничал — мой отец. Он печально смотрел на людей, на то, что они делали, потом сказал:

— Игнатий, вот, возле колышка, что за трава?

— Ну осока, а что?

— А то, что осока, окромя как на болоте, нигде не растет. Говорю, болото тут. Выбирай другое место. Вон на бугре.

Молчанов по председательски, снизу вверх, посмотрел на моего отца, ухмыльнулся, сказал так снисходительно, что только по плечу не похлопал:

— Новокузнецк тоже на болоте построен. Стоит же?

— То — Новокузнецк. Город. А то — скотный двор. Коровы тебе так размесят, что ты их на тракторе не вытащишь...

— Не мешай, дед, дело делать. Иди шорничай...

...Маленький Теш — моя Волга. И я никогда не уезжаю из Кузедеева, не опустив ладоней в речку моего детства. Шли мы с Иваном Кондратьевичем вдоль берега, я рассказывал:

— Здесь корчажки ставили. Вечерком запихаешь ее под самый подмытый бережок — утром вытряхнешь котелок чебаков. В этом омутке купались, «березку» показывали, на берегу глиняная катушка была, сядешь на это место, а еще лучше на животе, и с разгону — в воду. На вон том обрыве с удочками сидели...

— Погоди. Какой это обрыв... Это ж... Тут мельница была?

— Была.

— Когда ее сломали?

— Не знаю. Отец сюда в тридцать третьем приехал, ее уже не было. Одна вот эта плотина.

— Жаль. Кому она помешала? Ты представь себе: лопата, тачка, подводы. Бульдозеров ведь тогда не было. А как культурно построили. — Замечу: мой друг от природы рационалист. — И по-хозяйски, разумно. Один берег еще высокий, обрывистый, другой уже высокий и обрывистый. Лучшего места, — Иван Кондратьевич посмотрел вверх, вниз по реке, — здесь не найти.

— Чья была-то?

— Кто теперь скажет.

— Я скажу: разумного и расторопного мужика. С той и с другой стороны подъезды удобные. И, заметь: сосны, бор рядом — эстетика! Он не только головой место выби-

рал, а и душой. Душой!— повторил Иван Кондратьевич самому себе понравившееся выражение. (От природы же он еще и лирик).— Помешала она кому-то — сломали...

И он с пафосом стал рассуждать о том, что мельница та могла бы и сейчас еще молотить, мало того, поставь небольшой генератор — и напругу давала бы, энергия-то дармовая. В пруду гуси-утки плавали бы, рыбешка водилась. Да уже потому стоять бы ей надо, что она — памятник русской смекалистости и мастеровитости...

...Перед тем, как повернуться и пойти домой продолжать шорничать, отец сказал Игнатию Молчанову:

— После овцы остается шкура, после курицы — перья, после нас, Игнатий, дела: и худые, и хорошие.

ПОМНИТСЯ, в третьем классе мы учились во вторую смену. Однажды зимой, в самом начале урока, электрические лампочки мигнули раз, другой и погасли. Мы обрадовались: сейчас Мария Семеновна отпустит нас домой. «Забегу в магазин и куплю повидла»,— решил я. У меня как раз был рубль, мать на кино дала. Кино я любил, повидло же любил больше всего на свете. Наверное, потому, что его редко привозили в магазин. Два дня назад — привезли. Надо успеть, а то разберут.

Но, к нашему разочарованию, Мария Семеновна не отпустила нас домой. Она очень ценила время.

— Подождем,— сказала учительница,— может, еще загорится. А пока давайте помечтаем. Мечтать можно и в темноте.

И мы стали мечтать. О будущем. О том времени, теперь — после войны — не так уже далеко, когда жизнь будет интересной, веселой, все люди будут грамотными, и всего будет сколько хочешь. Например, рассказывала Мария Семеновна, приходи в магазин, выбирай себе костюм, рубашку, ботинки; набирай полные карманы пряников, печенья, конфет... Что увидишь, чего захочется, то и бери. Сколько хочешь! А самое главное — бесплатно, без денег.

Денег при коммунизме не будет. Они станут ненужными, раз все бесплатно.

В то, что рассказывала Мария Семеновна, верилось, потому что очень этого хотелось, и как-то не верилось, вернее сказать, было трудно вообразить: всего сколько хочешь, а главное, бери все за так, без денег.

— И повидло будет бесплатное? — спросил я, переборов в себе робость.

— Все будет бесплатное, — ответила Мария Семеновна. — Значит, и повидло тоже.

— И его дадут хоть... бочку?

— Хоть бочку, — засмеялась учительница. — Если съешь. Если съешь! Да мне и трех бочек мало будет...

О чем рассказывала Мария Семеновна дальше, я как-то плохо слушал. Я представил себе, что уже настало счастливое будущее и я ем бесплатное повидло. Прямо из бочки. Ложкой. И без хлеба — так больше влезет.

После звонка я первым выбежал из класса, оделся и стремглав помчался в магазин. У прилавка была длинная очередь — давали пшено. Я кое-как пробрался за печку и увидел: одна на другой стояли две фанерные бочки. С повидлом. Значит, одну уже распродали. «Не устоят, конечно, до коммунизма и эти», — тоскливо подумал я.

Но вспомнив, что коммунизм — это не только бесплатно, но и всего сколько хочешь, успокоился: ну не устоят эти, так привезут другие. Доста-а-анется!

На рубль, что похрустывал у меня в руке, решил все-таки сходить в кино, а повидла наемся при коммунизме, а то очередина вон какая, да и сколько его дадут, на рубль-то.

Дома я захлеб рассказал отцу и матери, как здорово будет в будущем: всего сколько хочешь, а главное — бесплатно! И в заключение провозгласил:

— Я себе бочку повидла возьму!

— Дай бог, — сказал отец, — дай бог. И когда же это будущее настанет? Учительница говорила?

— Я же говорю: когда всего будет сколько хочешь и —
бесплатно.

Отец отрицательно покачал головой.

— Раньше, сынок, много раньше. Чтобы у тебя повидло было, что нужно сделать?

— Бочку из магазина прикатить, — ответил я без запинки.

— Верно рассуждаешь, — улыбнувшись, поощрил отец. — А еще раньше?

Я пожал плечами.

— Запечатать ее. Так? Так. А до этого? Повидла в нее наложить. А перед тем? Яблок, груш, слив наростить. А сначала садов насадить. А иначе как? Задом наперед коня не запрягают. А первое первого — надо всем работать научиться. Мария Семеновна ведь как вам объясняла: будет каждый работать сколько надо, по совести, и будет всего сколько хочешь. Так она говорила?

Я шмыгнул носом.

— Или ты не слушал — бочку с повидлом открывал.

Отец немного ошибся в своем предположении. Тогда, на уроке, я не потрудился даже открыть бочку. Начал — я уже говорил об этом — есть повидло сразу. Ложкой. И без хлеба — чтобы побольше влезло.

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ. Встретились на большой дороге двое. Веселые оба.

— Здорово!

— Здоровеньки булы!

— Ты куда?

— У Вятку. Там, кажут, таки гарнэньки деревянни хатки. Хочу пожиты у одной из них. А ты?

— В Полтаву. Там, говорят, сайки, пышки, бублики — прямо объедение.

Разошлись. Через какое-то время сошлись на том же самом месте. Оба пригорюнились.

— Здорово.

— Здоровеньки булы.

— Ты откуда?

— З Вятки. А ты з видкеля?

— Из Полтавы. Ну, пожил в хатке?

— Та шоб вона сказылась та хатка. Ее ж строить трэба. А ты наився пышек та бублыквив?

— Каво там! Все как и у нас: спаши, посеи, обмолоти, смели. Пойду домой. В Вятку. А ты?

— До своей мазанки у Полтаву...

КАК БОЛЬШИНСТВО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, отец был немножко ворчливым и недоверчивым. На поляне возле нашего дома было футбольное поле. Когда устраивались соревнования футбольных команд, привлекавшие болельщиков, отец, прищутив глаза, говорил с хорошей долей сарказма:

— Два сорта дураков. Одни бегают, другие смотрят. Одним силу некуда девать, другим время. Вот всех бы вас с этого поля да на колхозное. Коммунизм-то там делается, а здесь безделье наживается.

В комнате, где до позавчерашнего дня жили отдыхающие, отец поднял с пола листок. Это было письмо, или — что скорее — черновик письма. Тринадцатилетняя Лариса писала своей подруге в город: «Деревенские девчонки и мальчишки ходят в лес пропалывать поля, чтобы на них лучше росла трава».

— Думаешь, из нее что-нибудь путное вырастет? Не будет ни уметь, ни знать, ни хотеть. Белоручка вырастет, маменькина дочка. На всем готовеньком собирается прожить...

И отец пустился в рассуждения о неприспособленности сначала городской, а потом и вообще молодежи: жизни не знают, работать не хотят и не умеют. Откуда ж быть молоку да мясу, когда все позалезали в каменные дома в пять этажей (а коровки-то пасутся в один этаж и то редко), позавели мотоциклы да разную музыку, старые работать, молодые — отдыхать...

Как-то бабка Настя Волосникова искренне поддакнула отцу:

— И как жить-то будут, когда старики перемрут?

Отец ответил тут же, не раздумывая:

— Лучше.

Чем очень даже обескуражил простодушную бабку.

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ. Случилось у нас что-то со счетчиком. Одну только лампочку включишь — закрутится как скаженный. Вызвали электрика. Молодой парень, может, чуть постарше тебя, веселый, балагуристый. Только глянул на счетчик и говорит:

— Все ясно.

И стал что-то там отверткой ковырять. А пробки и не вывернул. Я ему говорю:

— Смотри, стукнет он тебя.

— Кто?

— Да ток-то.

А он мне:

— Не стукнет, батя, он меня боится.

Вот это, сын, специалист, вот это мастер! Его даже само электричество боится!

НЕ ЛЮБИЛ И НЕ ЛЮБЛЮ в работе монотонности и однообразия. Считал за наказание, когда мать заставляла толочь в ступе соль, а отец — точило крутить. Очень не любил пилить (колоть — одно удовольствие!) дрова. Пилу на себя, пилу от себя.. Отпилили чурку — начинаем другую. Испилили комель — кладем на козлы следующий... Пилу на себя, пилу от себя... Что это за работа? Не требуется от тебя ни выдумки, ни смекалки. Ты — придаток пилы. Не по душе мне это. А коль так, то отсюда — споры с отцом, взаимные упреки, обиды, нервничанье.

Вот и в тот раз.

— Левее, левее пилу заводи, видишь: наперекосяк.

Отцу надо, чтобы поленья покорооче были — иначе в печь не влезут, мне надо, чтобы распилов поменьше. Вот и наперекосяк пила: я завожу ее правее, отец — левее.

Чтобы чурбак поскорее отвалился — покрепче давлю на пилу.

Отец протестует:

— Да полегче ты. Зуб, говорю, сам возьмет, сколько ему требуется.

Пила изгибается змеей, визжит, как от боли, захлебывается опилками, заклинивается, потому что срез получается косым, сразу в двух плоскостях. Я злюсь на пилу. Отец сердится на меня.

— Ну что за бестолочь! Легче, тебе говорят! Это же инструмент!

— Такому инструменту место в твоём утиле: тупая и развода никакого.

— Да такой пилы, — оскорбляется отец, — на сто верст в округе не найдешь.

— Такого металлолома — точно, — продолжаю язвить.

Отец смотрит на меня в упор, яростно сопит, сейчас что-то будет. Чтобы это что-то предотвратить, говорю чуть помягче:

— Развод все-таки маловат. Вот и заело.

— Неделию назад сам Телегин и точил, и правил. Наверно ж, мастер, толк знает?

Телегин, высокий вялый старик, прозванный Вечным Странником, появлялся в нашем селе несколько раз в год с точильным станком на плече и кожаной сумкой с разным инструментом. Располагался возле магазинного крыльца и точил бабам ножи, сечки, ножницы, а мужикам топоры, пилы, долота. И непрестанно рассказывал облепившим его ребятишкам сказки и разные истории. Уже в сумерках Вечный Странник приходил к нам. Ночевать. «На мне ездит, но меня же и кормит», — говорил о своем станке и никогда не оставлял ездока и кормильца в сенях. Непременно занесет в избу и поставит в переднем углу — из почтения. В пилах Телегин, конечно же, знал толк, отцу здесь не возразишь.

— Ну, а чего ж она не пилит? — изумлялся я.

В тот раз отец ничего не ответил. Когда наконец отвалился чурбак, приставил пилу к козлам.

— Покури,— присев на колоду, достал пузырек, отправил в каждую ноздрю по доброй щепоти табачной пыли, глядя куда-то мимо меня, поинтересовался:

— Город Лондон — в какой державе?

— Столица Англии.

— Во, во, в Англии. Так вот, давным-давно в одной лавчонке на краю Лондона собралось, может, человек с десяток — хозяин распродажу вещей объявил: подсвечники старинные, часы какие-то диковинные, кресла кожаные, стулья гнутые, еще чего-то там. И скрипка. Такая плюгавенькая скрипчонка, затасканная, лак пооблупился — словом, смотреть не на что. А хозяин только об ней и речь. Это, мол, редкость, дороже чистого золота стоит, потому как большой специалист делал... А ну-ка, каких ты старинных скрипичных мастеров знаешь?

— Ну... Амати... Еще Антон Страдивари...

— Во! Страдивариус. Говорит, сам Страдивариус делал эту скрипку. Все слушали хозяина, но сомневались: может, правду говорит, а может, и брешет. Продать-то по дорожке охота... Один человек, представительный на вид, в шляпе высокой, какие раньше господа носили, взял скрипку, осмотрел и говорит: «Нет, эту скрипку не Страдивариус делал: клейма мастера на ней нет». А хозяин ему: мол, бывают скрипки и с клеймом, да поддельные. «Нет,— говорит представительный человек в шляпе,— не может она быть настоящей, кладу за нее пять рублей...»

— Фунтов стерлингов.

— А?

— В Англии деньги фунтами стерлингов называются.

— Пусть фунты. Правильно. Пять, говорит, фунтов, больше она не стоит.

Хозяин рассерчал. «Это,— говорит,— насмешка, а не цена. Да я ее лучше задарма нищему скрипачу отдам».

Но цены не набавляли. Некоторые уже и выходить стали из лавки.

А один человек шел мимо и зашел. Молодой, высокий, чернявый. Увидел скрипку, взял. Повертел ее и так и сяк, порассматривал, достал платок из кармана, обтер пыль, струны подтянул. И заиграл. Да так заиграл!.. В лавке мигом стало не повернуться: кто мимо идет — все заходят. Скрыпач играет, а люди стоят, слушают и плачут. И хозяин плачет.

Вот перестал музыкант играть, положил скрипку на стол и говорит: «Настоящий мастер делал этот инструмент, не иначе как сам Страдивариус».

И что тут началось! Один кричит, пятьсот фунтов даю, другой — тыщу, третий — две тыщи...

«Так вы ж,— говорит хозяин,— не верили, что она настоящая, а теперь чуть не деретесь за нее. Нет,— говорит,— что щепка в ваших руках не запоет, что эта скрипка. Сделана она настоящим мастером и только в руках настоящего же мастера — инструмент. Мастеру я ее и отдам,— и протянул скрипку молодому человеку.— Берите». А тот: «Да у меня и денег таких нет». — «А мне твоих денег и не надо. Только скажи, как тебя зовут, чтоб я знал». И тот сказал...

Отец умолк.

— Ну и кто это был?

— А кого ты знаешь из больших скрипачей? Николой зовут?

— Никколо Паганини?

— Вот он и был. Большой мастер?

— Мастер. Да он гением был. Его еще никто не превзошел. На одной струне мог играть.

— Во, во! — подхватил отец.— Значит, из мастеров мастер, раз даже на одной мог. Настоящий мастер-рыбак, сын, и долотом рыбу ловит, у настоящего плотника — сам топор рубит, а у хорошего пильщика — сама пила пилит, а если как наша, то и тем паче. У нее, может, тоже свой

Страдивариус был, а вот за ручку дергает господин в шляпе.—Отец снова понюхал и так чихнул, что одна из бродивших неподалеку куриц даже присела с перепугу, а петух строго кудкудахнул на отца: мол, нельзя ли полегче.— Ну и что ты скажешь? — спросил отец улыбаясь.

Честно говоря, сравнение, вернее, намек на то, что я — господин в шляпе, мне не очень понравился. Но я смолчал.

Я уже говорил, что в наследство от отца я получил Библию и Евангелие. А потом какой-то старик принес мне затасканную книжицу без начала и конца, якобы принадлежавшую тоже моему родителю. Книжка была религиозной. Написал ее, как я понял из текста, какой-то благочестивый американец. Бездарное, надо сказать творение. Но на девяностой странице я наткнулся на легенду о Паганини, которую рассказывал мне отец. Прочитав книжный вариант, я отметил, что отец при пересказе допустил две вольности. Во-первых, исключил из легенды всю религиозную окраску, во-вторых, в передаче отца хозяин лавки дарит великому музыканту скрипку, тогда как в книжном варианте Паганини называет самую высокую цену и становится обладателем уникального инструмента.

ОТЕЦ НАСТАВЛЯЛ:

— Если ты что-то сделал и видишь, что сделал хорошо,— не торопись верить своим глазам.

— Знаю, надо подождать, когда похвалят другие.

— Твоя правда, сын, да не вся... У нас в Воскресенке был портной Павло. Родионовне пальто шил. Аж пять раз на примерку приносил. На шестой принес готовое. «Надевай». Надела, к зеркалу подошла. «Глянется?» Родионовна говорит: «Вроде хорошо, спасибо». Я тоже говорю: «Хорошо». «Ладно. А ну-ка, Петрович, зови соседок», — распорядился Павло, а сам за занавеску спрятался. Пришли соседки и давай наперебой: «Ой, Родионовна, да ты прямо как царица в нем. Приглядно. Одним словом, Павло шил». Павло откинул занавеску: «Вот теперь и я знаю, что хорошо».

ЕЩЕ ОТЕЦ НАСТАВЛЯЛ:

— Если курица еще яиц не нанесла, не хвались цыплятами.

И рассказывал сказку.

Жил-был у попа работник Иван. Посылает его раз поп:

— Езжай, вспаши поле да засеи его просом,— и облизнулся: — Вот осенью-то блинков поедим.

— Как бог даст, батюшка. Пока погодим,— сказал Иван и поехал пахать-сеять.

Прошел дождичек, просо дружно взошло. Батюшка посмотрел, доволен остался.

— Ну, блинков поедим.

А Иван:

— Как бог даст, батюшка. Пока погодим.

Осень выдалась на славу. Работник Иван просо скосил, обмолотил, зерно в амбар свозил. Батюшка зачерпнул горсть проса — лучше не надо.

— Поедим блинков, поедим.

— Как бог даст, батюшка. Пока погодим.

— Заладил: погодим, погодим. Наряжался бы на мельницу.

Повез Иван зерно на мельницу. Обрушил, муки намолол... Поутру батюшка с матушкой встали, за стол сели. Кухарка перед ними стопу блинов поставила, свеженьких, горяченьких.

— Ну вот,— сказал батюшка,— а Иван все говорил, мол, погодим да погодим.— Взял блин, обмакнул в масло.— Вот мы и едим.

И тут на пороге Иван:

— Беда, батюшка, горим!..

ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЛ:

— Как-то летом поехал я к Тане в гости. Повела она меня на мичуринский участок. Четыре ведра виктории за час набрали, и каждая ягодка... с картошину. Ага! А чего?.. Вышли за ворота, идем. Догоняет нас женщина. Не-

старая еще. С виду суетливая какая-то, вертлявая. В руке бидончик с викторией. Ягода... что горох. Да и та не совсем спелая.

— Здравствуйте, Татьяна Федоровна.

— Здравствуйте,— сказала Таня и посмотрела на женщину: что-то незнакомая.

— Да вы меня не знаете, Татьяна Федоровна, я недавняя садоводка,— забежала чуть вперед, смотрит на Танию медовыми глазами.— А вот вас, Татьяна Федоровна, все знают.

Таня засмеялась и поправила:

— Ну не все, конечно. Но многие.

Ее и на самом деле не все знают — какой-никакой, а все-таки город же,— но все равно столько ее знают, что почти все. Так что женщина, может, самую малость прибавила. Но Таня ее поправила. Ради правды. А как же? И в такой мелочи правда дороже всего.

— Татьяна Федоровна, хочу вас спросить...— И чего-то мнется.

— Спрашивайте,— говорит Таня.— Спрашивайте, не стесняйтесь. Если знаю — скажу. А не знаю — скажу, что не знаю.

— Все говорят, у вас так много виктории, и такая она крупная.

— Вам правду говорят,— подтвердила Таня. Без хвастовства. А чего хвастать, когда это правда. Степенно, как царица, шагает по дорожке.— У меня неурожаев не бывает.

— Говорят, вы...— И запнулась женщина.

— Что же вам говорят еще про меня?

— Говорят, вы знаете секрет... слово какое-то знаете.

Таня тут же:

— Вам правду говорят. Знаю.

Женщина аж засветилась. И бочком, бочком впереди Тани.

— Ой, Татьяна Федоровна! Научите меня, пожалуйста! Не за так, конечно, я вам заплачу. Сколько скажете, столько и заплачу. Научите...

— Денег мне не надо,— сказала Таня серьезно. Это чтоб подзадорить женщину.— Деньги у меня есть.

— Тогда что? Может, вам...

— Мне ничего от вас не надо. Раз я знаю слово, значит, у меня все есть. Я вас так научу, задаром.

— Ну хоть задаром, только научите, пожалуйста.

Таня не торопится. Все так же степенно шагает себе по дорожке и смотрит вперед. А женщина ждет, аж глазами ее ест. Мне и самому уже интересно, что же такое скажет моя дочь.

— Так вот слушайте мой секрет...

— Так, так...

— Как только весной снег сойдет,— тихонько, почти шепотом говорит Таня,— приходите почаще в свой сад. Лучше всего каждый день приходите...

Женщина слушает, рот открыла, будто каждое слово проглотить хочет.

— Так, так...

— Приходите и кланяйтесь. Да пониже.

— Это как?

— А вот так,— Таня поставила ведра на землю, наклонилась и стала рвать цветки тысячелистника. У него тысяча листков и каждый от какой-нибудь болезни.— Видите? Становитесь-ка и вы так же.

Женщина тоже наклонилась. Таня ей:

— Да получше, получше,— не переломитесь,— чтобы сахарница вверх смотрела... Вот правильно,— а сама все рвет и рвет цветки. Женщина, наверно, уж подумала, что Таня забыла про нее, говорит:

— Ну, а дальше? Вы же еще что-то и говорите?

— А когда как. Бывает, что и песни тихонько пою.

— Божественные?

— А какие люблю. А бывает и всплакну, если горе

какое. Если кто рядом есть — разговариваю. Вот и все.—
Таня выпрямилась.

— Как все? — чего-то не поняла женщина.

— А что еще? — Таня развела руками.

— Так слово-то, слово секретное?

— Секретное? — Таня засмеялась.— Там, где много дел и старания, никаких слов не надо. Держите с утра до вечера задницу вверх — вот вам и все мое слово. И будет у вас ягода.

Женщина глазами — сверк! Фыркнула — осерчала.

— Спасибо,— и быстро, почти рысью, пошла, хвостом помела.

Таня ей вслед:

— Не за что,— на меня посмотрела, засмеялась, и я засмеялся.

Подняли мы ведра, а в них каждая ягодка с картошину, и пошли...

— Картошина может быть и с горошину,— замечал я.

— Это у таких хозяев, как та бабенка. А у нас...

— Знаю, знаю: две штуки — полное ведро.

— Ага!— отец ухмыльнулся, довольный.

СРАВНЕНИЯ у отца, как правило, были перед глазами. Однажды утром пьет чай, не торопится. Я и Федя (мой племянник, отцов внук, тоже — Федор Петрович, между прочим) сидим на сундуке возле порога и слушаем обстоятельный рассказ отца:

— Это раз, еще в Казахстане, Родионовна, твоя, Федя, бабушка, посадила огурцы. А через неделю смотрю — взошли дыни.

— Дыни у тебя, мать, вырастут. Сади, пока не поздно, огурцы.

Куда там! Разве ж я что смыслю?

— Если,— говорит,— это, по-твоему, дыни, то сади сам огурцы. Сам, так сам. Посадил. А чего ж?.. И что вы думаете? У Родионовны дыни ведь выросли. Да и те вот та-

кие,— показал карамельку-шарик. И, прихлебнув из блюда чаю, приумолк не без лукавого умысла.

— Ну, а ваши огурцы, дедушка?

— Огурцы?— с достоинством переспросил.— Выросли и мои огурцы. А как же? Да еще какие! Таких огурцов никогда и ни у кого еще не росло,— отец поспешно ищет глазами на столе что-нибудь такое, с чем можно было бы сравнить свои славные огурцы. Повертел в руках граненый стакан — нет, что это за огурец, смех один — отставил в сторону; коснулся было пальцами хлебницы — не подходит, форма не та; взгляд отца падает на парящий полуведерный самовар. Нашел! И с торжественным блеском в глазах:— Все как один вот с этот самовар!

— Мы с Федей дружно засмеялись.

— Ага!— уверяет отец, уколов нас осуждающим взглядом.— Что тут смешного? Разве вы никогда не видели таких огурцов?

— А где бы их нам, дедушка, видеть, вы же сами сказали: таких огурцов никогда ни у кого не росло еще.

На Федино замечание отец ничего не ответил. В последние годы он стал совсем туг на уши, не может слышать, что ему говорят. Странно, но чаще всего он не может слышать те слова, на которые трудно что-либо возразить.

...Днем подводили фундамент под баню. Отец пристально посмотрел на Федю, обнаженного по пояс, заметил:

— Хлипковатый ты еще, Федя. А если в нашу породу удался, то будешь поджарый, как я. Недаром тоже — Федор Петрович. А вот в позапрошлом году — под осень как раз — ночевал у нас человек — Дейкин — рыбачить сюда приезжал. От здоровый мужик! Ой здоровый! Сиськи у него, Федя, с твою голову... Ага! А у старинных людей на картинках рисуют? Еще больше. Щуку поймал — я таких и не видел никогда... вот с эту двурушную пилу... Раз привезли мы сено, складываем на навес. А тут дождь нахо-

дит — не успеть. Приходит с рыбалки Дейкин, вилы в руки — и пошел. Навильник возьмет — полвоза нет, еще навильник — телега пустая. Страшно сильный человек. Настоящий Илья Муромец. Рассказывал, как еще в тридцатые годы устраивался на работу в шахту. Тогда, чтоб забойщиком тебя взяли, испытание надо было пройти: надень верхонку и вбей в доску гвоздь, чтоб насквозь прошел. Так он три раза ударил — и готово. Все равно не берут. Мест, говорят, нет. Он к начальнику шахты. А тот в кошевку садится, чтоб к начальству ехать. «Товарищ начальник, возьмите». А начальник: «Мест нету.— И кучеру: — Погоняй». И поехал. Дейкина зло разобрало: выходит, гвоздь зря вколачивал? Догнал директору коляску и прямо за колесо хватать! Кони как вкопанные стали. Начальник сначала тоже осерчал, а потом говорит: «Хоть и нет мест, но тебя возьму»... Во как.

Здоровые, сильные люди были страстью отца. Да если они еще работающие оказывались, то это уже — самые совершенные люди.

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СВОИ он испытывал сильные приступы кашля и удушья. В такие минуты не находил себе места. То ложился на одну кровать, то на другую, то головой к окну, то ногами, то лез на печь, то просил вывести его во двор. Я усаживал его на скамейку возле крыльца. Ему становилось легче или только казалось, что полегчало,— и он тут же находил себе работу. Пытался вынести за ворота ведро с мусором, вбить куда-нибудь гвоздь. Но сил уже не было никаких, все валилось из рук, и он плакал от отчаяния.

Накануне кончины его я пошел на почту, чтобы отправить телеграмму брату о плохом состоянии отца. Александра Михеевна отправилась в магазин за покупками на тот случай «если что-нибудь случится», отца заперла на замок. Прихожу с почты — отец, шатаясь, ходит в огороде меж грядок, вырывает сорные травинки. В окно вылез. Завел его в дом, уложил на кровать.

В полубреду:

— Отдохни немного, сынок, да пойдем в сарае пол перестилать.— Впал в забытие, потом вроде уснул. Через какое-то время очнулся весь в поту. Нашел меня глазами, сообщил с детской восторженностью:

— Ну, сегодня ночью мы поработали! Ой поработали! В сарае весь пол перестлали. Сколько назьма выкидали! Гору! — отдышался и заключил: — Крепко поработали... А сколько еще всяких дел, сын...

Все. Это были его последние слова...

Но не этим я хочу закончить главу.

ПОСЛЕДНИЙ ПРОКОС. Отец позвал меня, и я приехал.

Он сидел сгорбившись на лавке у крыльца. На нем были чесанки с калошами, фуфайка, лопоухая шапка. В руках — мое старое удилище с привязанной на конце зеленой тряпкой. Когда какая-нибудь хитрая курица незаметно проникала с улицы во двор и осторожно прокрадывалась к забору, чтобы перелететь в огород, отец поднимал удилище:

— Кы-ы-ыш! Будь ты проклята! — Он выговаривал это раздраженно и зло. И вообще показался мне желчным. Дышал тяжело, резкими толчками, а внутри у него сви-стело и булькало.

— Что-то я заболел, сынок... Совсем не могу...

Облокотился на колени и после некоторого молчания спросил уже в который раз:

— На пароме переезжал или на лодке?

— На пароме.

— А я вот с курами воюю. Больше ничего не могу... Пройдусь по двору и уже пристал. И голова делается как пьяная.

Опять молчание, потом с грустным вздохом:

— Да. Был конь — изъездился. Слава богу, пожили-поработали, теперь уж, видно, пора туда, — махнул рукой на гору, где между кустами и березами виднелись кресты.—

А мы с матерью решили нынче сено не косить. Телку продадим, немного денег добавим и купим возов семь — на корову хватит...

Вечером пришел сосед Гриша Грошев, мужик молодой и здоровый.

— Ты что ж, дядя Федя, уже который день куропасничаешь? На легкий труд перешл, что ли?

— Ага. В симулянты записался. Дай, думаю, напоследок полодырничаю, — скучно отшутился отец.

— Позавидуешь тебе. А тут с совхозного да на свое тацишься. Умаешься как бес, ни рук ни ног не чувствуешь.

— Сейчас-то с покоса, что ли?

— Ага. Скопнил, черт ее бей. Завтра метать хочу. Вот за стоговыми вилами к тебе пришел. Дашь?

— Ну, а чего ж? Бери. Хоть совсем возьми.

— А ты что, косить не собираешься?

— Какой уж я косарь. Хватит — покосили. Пусть теперь другие. Я уж и бригадиру сказал, чтоб кому-нибудь покос отдал. Поди, уж выкосили. Не видел?

— Только что мимо шел. Стоит. Один остался. А кому он нужен. Нынче все косилками норовят, а на твоём косилку непустишь — кусты. Да и ручей опять же.

— Это верно. Там только руками. Трава-то как?

— Нынче везде буйная, косу, едри ее мать, не протянешь. А у тебя низина, так и вовсе выдурила.

— Коси, если хочешь...

— Да ты что, дядь Федя, на кой она мне сплющилась. Со своей ухайдокался. Тридцать копен нагреб. Корове с овцой куда еще больше.

— Оно конечно... Хватит... Вилы-то иди сам возьми. Они там, под самой крышей, найдешь.

Гриша пошел в сарай, вынес стоговой двурожник.

— Вилы хорошие, ловкие, только, наверное, рожки затупились, так ты их ножиком легонько... — Отец зашелся в сухом кашле.

— Ага, заострю. Ну, пока. Завтра надо пораньше встать. Ох, сгори оно огнем, это сено,— Гриша пошел со двора.

Когда вышел уже за калитку, отец вдруг окликнул его:

— Григорий.

— Чего?

— Смечешь, так вилы-то принеси. Может, сгодятся еще.

— Ладно,— Гриша повел плечом, должно быть, не поняв, почему мой отец переменял решение...

Спал я, как всегда, на сеновале. Ранним утром разбудили меня знакомые звуки: тақ-так-так... Приподнялся, глянул через щель в крыше. Отец, сидя на перевернутой табуретке, отбивал косу, на ограде висела другая. На крыльцо вышла с подойником Александра Михеевна, стала увещевать отца:

— И чего, говорю, заерепенился. Да ты и до покоса не дойдешь, на полдороге свалишься.

Отец перестал стучать, поднял взъерошенные брови:

— Ты — баба. След, не башка у тебя, а чугунок. Не лезь не в свое корыто. Дои корову да живо готовь завтрак. Ишь, раскудахталась!— И снова застучал.

Я спустился вниз, подошел к отцу.

— Косить, что ли, собрался?

В глазах отца блеснуло что-то, отдаленно напоминающее его былую язвительность, но тут же пропало.

— А что сделаешь, сынок, надо,— сказал он так, будто винился передо мной, и развел руками.

— Мать права, нельзя тебе. Перед людьми неловко будет...

— И ты туда же,— сказал отец раздосадованно и даже притопнул ногой.— Вот мне перед людьми и совестно. Слышал, что Гришка вчера сказал: кругом уже все выкошено, а наш покос стоит нетронутый. Сроду, сын, такого не бывало. Нет, сынок...

— Тогда, может, я один пойду?

— Начнешь там ворочать как попало, знаю я тебя.

Я тоже знал отца. Ему перечить, что по лесу с бороной ехать. Уж если что надумал, в жизнь не переубедишь, по его будет...

Как ни бодрился отец, как ни старался быть расторопным, а сборы наши затянулись. Позавтракав, отец еще долго напивался крутого чаю, чтоб не мучила жажда на покосе, потом шарил по всем закуткам, отыскивая бруски, подбирая тесемки, чтоб подвязать калоши, а там обнаружилось, что топор не наточен, а у одной косы черенок надтреснутый. С горем пополам общими усилиями все разыскали, наточили, наладили и тронулись со двора.

Чтобы отцу легче было идти, всю ношу я взял сам, хотел забрать и косу, но он воспротивился:

— Нет, сынок, обычай: косу свою косарь сам несет. Иначе что он за косарь.

Александра Михеевна, провожая нас до калитки, сказала еще раз, так, безо всякой надежды:

— Может, не ходил бы...

Слов ее отец будто и не слышал.

— Курей сегодня из сарая не выпускай,— строго распорядился он, не оборачиваясь.

Небо смотрело на землю хмуро и скучно. Росы не было. Значит, быть дождю. До покоса километра четыре, дорога нетрудная, все по ровному. Я старался идти помедленнее, чтобы отец поспевал за мной. Шел он, опираясь на палочку, хоть и шатко, но уверенно. Так потихоньку и дошли до старой березы, от которой начинался наш покос и где мы всегда устраивали балаган.

— Хэх! И правда, трава богатая,— оживленно заозирался отец,— и зеленая еще, что лук. Ну как ты ее бросишь? Грех!

Я еще не докурил папиросу, а отец уже скинул пиджак и по своему обыкновению остался в исподней рубашке на выпуск. Принялся тщательно точить косу, наточив, сунул

брусок в карман штанов. Наметил глазами, как ляжет первый прокос, по привычке плюнул в ладонь:

— Ну, господи, благослови.

Взмахнул косой. Стебли трав, подрезанные у самого основания, вздрогнули, как от резкой боли, упали на лезвие косы и тут же, собранные в пучок, были отброшены влево. Другой взмах косы, шире и свободнее,— и второй пучок травы веером лег впереди первого. Тив... тив... тив...— тоненько пела коса. Пройдя метра два, отец остановился. Вид его был ошалело-ликующий.

— От трава! Господи!.. Ну, сын, давай следом за мной. Коса у тебя хорошая, только больше на пятку нажимай.

— Тив... тив...— снова засвистела отцова коса.— Жух... Жух...— завторила моя: звук косы в руках самого косаря всегда кажется иным, грубым и жестким. После нескольких взмахов у меня с непривычки сбилось дыхание, разрыв между мной и отцом стал увеличиваться. А он, отец, шел осанисто и легко. Так легко, что, казалось, совсем не напрягал сил, только поддерживал под нужным углом черенок косы, а она уже сама отлетала назад, ныряла в траву, сбивала стебли, укладывала в валок, и пока отец делал маленький гусиный шажок, опять отлетала назад. Между косарем и косой установилась такая согласованность, будто были они звеньями одного, хорошо отлаженного механизма.

Когда отец дошел первый прокос до конца, стал накрапывать дождик. Отец посмотрел на небо. Затяжной и мелкий. Это ничего. Это даже лучше. Вскинул косу на плечо, поднялся наверх и, не останавливаясь, поспешно начал второй прокос. Но ширина его становилась с каждым взмахом заметно уже, а свист косы терял свою пронзительность, делался все глуше и глуше. Так останавливается маятник старых, утомившихся за долгие годы, ходиков.

— Пап, отдохнул бы.

Но отец, отрешившись от всего, старался войти в ус-

тойчивый ритм. Однако коса уже не слушалась его, запутывалась в траве и не сбивала ее, а только рвала. Я бросил свою косу, подошел к отцу.

— Остановись, пап...

Он не слышал меня, собрал весь остаток сил, чтобы наконец завести косу как надо, на всю ширь. Но покачнулся, потерял равновесие и бессильно, как будто сам подкошенный, повалился на бок и упал на влажный от дождя валок. Еще ничего не поняв, он в недоумении смотрел перед собой, сжимая в руке черенок косы.

Я поднял его, отвел под березу, налил в кружку молока. Но отец отвел мою руку в сторону. Он неподвижно и немо смотрел на свой последний прокос. По впалым щекам его катились слезы.

А мне вдруг вспомнился, даже не вспомнился, а просто мелькнул в сознании совсем уже забытый случай.

Давно, когда я еще не учился в школе, у нас была овца Дашка. Перед весной Дашка заболела и стала чахнуть. Как только-только сошел снег и из земли пробились первые бледно-зеленые иголки травы, весь скот выгнали в поле. В загоне осталась одна Дашка. Она уже не могла подняться и сиротливо лежала в углу. Отец, как ребенка, взял ее на руки, отнес в поле и положил на обогретый солнцем холмик. Учув под собой запах свежей травы, Дашка заволновалась, стала водить по земле губами. Наткнувшись на молоденькие стебельки, отщипывала их и жадно-жадно жевала. А между тем силы ее уже совсем оставляли. Она дотянулась до бархатистого тысячелистника, захватила его зубами, но оторвать его уже не смогла, так и затихла с оскаленными зубами, зажавшими травинку. Мне стало жалко Дашку, я заплакал.

— Чудной,— отец погладил меня по голове,— ей все равно было помирать, так уж лучше здесь, чем в загоне...

— Все, сын,— сказал отец с безутешной горечью,— был конь, да изъездился.— По его щекам катились слезы...

Внизу по дороге ехал на телеге Гриша Грошев. Начавшийся дождь не дал ему сметать стог. Домой мы уехали вместе с ним.

Через неделю отец умер...

Глава 4

ДО СКОНЧАНИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

СУДЫ-ПЕРЕСУДЫ. Петька Ерофеев сидит на ящике с хлебом и, понутив голову, дремлет. Камбала, старая кобыла с выгнутой коромыслом спиной и большим, как пивная бочка, брюхом, сама свернет с дороги к магазину и остановится у окошечка. От толчка Петька проснется, слезет на землю, потянется, как кот, зевнет и скажет лениво в окошечко:

— Принимай, Груня, выгружаюсь...

Петька нетороплив, как осенний морозящий дождичек, и выгружаться он будет долго. Это все знают и не спешат выстраиваться в очередь. Ребятишки гоняют на лужайке мяч или играют в чику, молодые бабы, собравшись стайкой возле магазинного крыльца, лузгают семечки и сплетничают. У пожилых людей и стариков своя компания. Они сидят кружком, кто на завалинке, кто на ящике изпод спичек, кто на перевернутой бочке и ведут свои извечные разговоры. Сначала, как водится, о погоде да урожае, сенокосе, потом каждый расскажет о своих недугах и напастях. Так потихоньку да полегоньку от одного к другому и подберутся к своей излюбленной теме — о «нонешней» непутевой да незадачливой молодежи. Сперва засудачат в общем, обо всех сразу:

— Ведь как оно повелось: ты им замеси да и в рот положи.

— В лесу дров не сыщут.

— Все норовят, чтоб поменьше сделать да побольше погулять.

— Чуть к вечеру — ты их ни в хомут, ни в шлейку не запряжешь: на танцы да в кино бегут.

— Стариков ни в грош не ставят — все сами знают грамотные сплошь.

— Грамотные, а дури-то...

— От безделья дурь и наживается.

— Не-е-ет, в наши-то годы не так было...

И дальше в том же духе. Пока кто-нибудь, к примеру, Монашиха, не вздохнет:

— Уж как-нибудь бы довести до ума своего Василия, а там и...

— Служит, Васька-то?

И сразу же разговор получает иной оборот.

— Служит. К осени в отпуск сулится.

— Однако как ребятня-то растет: Давно ли, хоть и Васька твой, по чужим огородам шастал, а уже — солдат.

Монашиха обиженно поджимает губы, но учтиво, с достоинством:

— Другие-то, может, и шастали, а на моего Василия, слава богу, не жаловались. Своего хватало. Да и не так воспитывался. Бывало, чуть набедокурит, я уж так не оставлю. Голову — промеж колен да «березовой кашей» накормлю досыта. Завсегда меня слушался и людей почитал. А теперь вот и его уже почитают. На День Победы командир части письмо прислал мне и пишет: мол, спасибо вам, Наталья Степановна, за то, что такого сына воспитали, отличный он, говорит, солдат, ставим его другим в пример. Непутевый какой был бы, так небось не написали бы...

— Доброму Савве добрая и слава. А о плохом что напишешь, разве только плохое, — подтверждает Иван Лукич Карамышев, невысокий пухлый старичок. — Мария, дочь-то наша, в прошлый раз приезжала, так рассказывала: говорит, придет родитель хорошего ученика, с ним и поговорить любо, потому как все хорошо. А если, говорит, како-

го колашника мать вызовешь, так не знаешь, с какого боку и начать: все кругом у него плохо...

— Еще не вышла Мария замуж-то?

— Какой там замуж! И слушать не хочет. Это, говорит, успеется, а мне еще учиться надо.

— Куда еще-то? Десятилетку окончила, институт...

— А куда-то там хочет поступать, оттуда уж профессорами выходят. Мы со старухой говорим: раз есть охота, пушай учится. За ученого, говорят, двух неученых дают...

— Это только говорят да сулят,— машет рукой дядя Степан Скрябин. И, коснувшись колена моего отца: — Взять хотя бы наш совхоз. Ученых-то много, а на технике работать некому. В посевную или в уборочную директор тебе пять ученых и себя впридачу отдаст, только бы комбайны да трактора не стояли. Во всех газетах пишут, по всем радивам так и говорят: механизатор — главная, первейшая фигура. Вот вы своих детей в город поотправляли, а в моем доме две таких фигуры — сын да внук. Во как! Им почет и уважение. Хвалиться не буду, а что есть скажу. Мишке мотоцикл без очереди дали? Дали. Орденом наградили? Наградили. Депутатом вы его выбрали? Выбрали. Дома похвальными листами все стены увешаны. И во всех президиумах сидит, на разные там слеты ездит. А Володька? Внук? Только первый сезон на тракторе, а уже за высокий процент премию дали и всю вёсну на радиаторе флажок висел! А, язви вас?! Вот теперь и думайте, кто нужней — ученый или механизатор. Те-то, что в шляпах да при галстуках, хлеб не растут. Вот так, соседка,— поворачивается дядя Степан к старухе Михеевой и лезет в карман за кисетом.

Соседушка Михенха принимает это обращение как камушек в свой огород: сын ее, Григорий,— бухгалтер конторы «Заготзерно». Шляпу он не носит, но при галстукке, это верно. Михенха задета за живое, но виду не подает, с нарочитым безразличием она смеется, запрокинув голову.

— А если урожай несусветный будет, то как же вы, неученые, хлеб-то сосчитаете? Небось с поклоном придете к тем, кто при галстуках. А им сосчитать, что тебе переобуться. Раз, раз костяшки — и готово.— Дальше Михеиха говорит уже серьезно и даже важно: — Вон его, хлеба-то, в «Заготзерне» какие горы. И все до последнего зернышка сосчитано и записано. Не-е-ет, не так-то просто эти горы пересчитать. Другой раз вечером приду к Грише, а он лежит на диване, за голову схватился. Болит, говорит, прямо разламывается. А как годовой отчет начнется, бывает, в конторе и ночует, все какие-то там балансы ищет. А ведь не холостяк. Семья, дети. Хозяйство надо вести. Да он у нас расторопный, все успевает. Да еще и к нам прибежит: «Пап, мам, давайте чего-нибудь пособлю». Не-е-ет, Гриша наш завсегда. Без него нам с отцом тяжело было б.

— Так оно ведь и говорят: хороший сын — костыль на старость лет.

Наступает небольшая пауза. Все попеременно смотрят на моего отца: теперь вроде его черед. Но отец как будто и не думает держать речь: опустив голову, о чем-то размышляет и что-то чертит палочкой на песке.

— Будет сегодня автобус, нет ли? — спрашивает Кашириха.— Мои молодые в город собрались.

— Покупать чего?

— Ну как же! Деньги-то большие, северные, дак транжирить надо. Говорю, поберегли бы. И так все разодеты-разобуты, чего еще? А дому вон ремонт нужен. Фундамент бы подвести, да крышу починить. А Степка машет рукой: «Хватит, мать, и на фундамент, и на крышу. Еще и мотоцикл заведу». А сейчас собираются приемник купить, который и пластинки играет. Молодые — пусть тешатся. Мне — что...

— А тебе-то привезли какой гостинец, как приехали?

— Ну уж с таких-то заработков стыдно было бы не привезти,— вставляет дядя Степан Скрябин.

— Привезли, как же. Сноха, та отрез на платье выложила, шерстяной, бордовый. А Степка дак пальто плюшевое и платок пуховый.— Кашириха скромненько, будто в смущении, собирает в складки цветастый фартук, а глаза ее исподволь наблюдают, какое впечатление произвели ее слова на односельчан.

Опять пауза. И опять все посматривают на моего отца. Но тот молчит.

— Да, Федор Петрович,— обращается к нему Монашиха.— Ты бастуешь, что ли, сегодня?

— А что я? — подымает голову отец.— Вы — говорите, я — слушаю.

— Да мы-то уж повыговорились. Всяк своих детей исхвалил на чем свет стоит. Твой черед. У тебя ж — трое.

— Подожду.

— Чего подождешь-то? Петька вон сейчас уедет уже.

— Завтра снова приедет.

— Да что, на завтра и речь свою оставил?

— И завтра: вы — говорите, я — послушаю.

— Ой, чего-то ты нам голову морочишь.

Видно, решив, что и в самом деле заморочил всей компании головы, отец с ухмылкой смотрит на Монашиху:

— Ты ж сказала: своих детей всех исхвалили. Значит, теперь моих начнете хвалить?

— Твоих?

— Ну.

— А чего это мы? Ты ж имя́ отец.

— Как отец я о своих скажу то же, что вы о своих говорите: а все-таки мои дети лучше всех.

— Правильно. Всяк своих и хвалит, и хаит.

— И я говорю: правильно. Да только для меня интереснее было б другое. Вот если бы о моей Татьяне, или о Петре, или о Вовке кто-нибудь рассказал такое, что я слушал бы да радовался, тогда бы выходило, что мои сыновья и дочь для всех лучше всех. Я говорю: пусть люди скажут, им виднее. А я — что? Я — как и вы...

Все немножко, самую малость, обескуражены. Нет, старики и старухи согласны, конечно, со словами моего отца, все так, верно... И все-таки разговор зашел в тупичок...

Но тут доносится сонный голос Петьки Ерофеева:

— Но-о-о. Трогай...

Значит, уже выгрузился.

Старики и старухи с оханьем и кряхтеньем поднимаются и идут становиться в очередь, на ходу выясняя, кто за кем...

И все-таки как родитель мой отец мало чем отличался от других отцов и матерей, хотя порой и пытался воспротивиться разумом против своей же родительской сути. «Я — как все...» А может, еще и попуше, может, еще изощреннее **всех**.

ОДНАЖДЫ — в самом конце войны или сразу же после войны это было — пришла к нам женщина, должно быть, из какого-то районного учреждения. Когда отец работал «в утиле», контора его была дома, и к нам приходило много разных людей по разным делам. Сначала отец и женщина перебирали бумаги, о чем-то беседовали, шутили между делом, смеялись. Потом разговор почему-то стал крупным, громким. Отец поднялся и заходил по комнате, что-то жарко доказывая женщине. Женщина отвечала ему резкими, колкими фразами. Вдруг отец шагнул к большому, в коричневой дубовой раме, портрету Александра, моего старшего брата, пропавшего на войне без вести, почти сорвал портрет со стены, поднес к самому лицу женщины.

— Вот, посмотри! Мой **СЫН!** Герой! Вся грудь была увешана! А сколько раз писали в газетах: «Проявил смекалку и мужество...», «отличился в бою...» А как же — **МОЙ сын!** — заключил с гордой категоричностью, на расстоянии вытянутых рук сам посмотрел на портрет и снова повесил его на стену.

У ТОГО ЖЕ МАГАЗИНА отец с довольством и как бы в крайнем удивлении говорил:

— О-о, Петр Федорович — большой человек! Главный бухгалтер ГРЭС. Это его должность. А профессия — бухгалтер-ре-ви-зор! — И многозначительно поднимал палец, мол, это не то, что бухгалтер «Заготзерна», совсем не то — куда как значительней и весомей.— Два раза до войны на курсах учился — в Белове и в Томске,— а сколько после войны, и не упомню: и в Краснодаре, и в Кемерове, и в Иркутске... В одной Москве только раза три. И везде сдавал испытания только на «пять». Креп-ко свое дело знает! За то и уважают... Номенклатура (слово это выговаривал с особым удовольствием) министерства! Не шутка — сказать. Только сам министр электрических станций сможет снять его с должности... Другие главные бухгалтера еще пурхаются, еще считают, бабки подбивают, а Петр Федорович уже приехал в Москву с годовым отчетом. Самые большие чины с ним по ручке здороваются, беседуют и похвальные слова говорят. Крепко его в Москве уважают!..

Однажды отец по «утильным», а Петр Федорович по своим бухгалтерским делам поехали вместе в Новосибирск. В Новокузнецке зашли в привокзальный ресторан поужинать. Заказали борщ украинский и еще что-то. Приносит официантка вместо борща какую-то красную водичку в тарелках. Думали, что только им такой «борщ» подали, а оказывается, и людям за другими столами то же самое. Петр Федорович говорит официантке:

— Какой же это борщ...

А официантка ему через губу:

— Украинский. Кто вы такой; чтобы критиковать? Кушайте, что подают.

Слова официантки «кто вы такой» задела за живое отца, и он представил вежливо:

— Это бухгалтер-ревизор такой-то,— официантка аж присела.— Позовите сюда завпроизводством.

— Минуточку.— И пошла.

— Папа!— укорил Петр Федорович отца.

— Но разве я сказал неправду?— обиделся отец.

— Правду, но здесь-то я, действительно,— кто?

— Бухгалтер-ревизор,— сказал отец.

Не прошло и «минуточки» — завпроизводством вот она, перед столом. Солидная, размалеванная, завиляла хвостом:

— Простите-извините. Конечно, это не борщ. Мы вам сейчас, мигом заменим.

А Петр Федорович ей:

— А всем другим? Всем замените. И нам с папой тоже.

Вот как их Петр Федорович: всем! И нам с папой тоже...

Мигом у всех забрали тарелки и принесли другие — с настоящим украинским борщом. Но все равно это был не борщ. В сравнении с тем, какой умела варить наша мать, украинка.

ОТЕЦ СИЛЬНО РАССТРОИЛСЯ, когда я сказал ему, что получил на экзаменационной сессии две двойки, остался без стипендии и потому решил перевестись на вечернее отделение техникума и пойти работать в шахту.

— Если днем двоек нахватал, то вечером ты — научишься.

И поехал в техникум улаживать дело. Знаю, ему вполне удалось бы это, но я предусмотрительно сделал все, чтобы возврата в группу 553-Р уже не было. Домой отец уезжал расстроенный еще больше и искренне пообещал, что как только я заявлюсь домой, даст мне «хорошего ремня», несмотря на то, что я «уже здоровый мужик». Желая хоть как-нибудь успокоить отца, я возразил ему безо всякой прони, серьезно:

— Все здоровые люди должны работать.

Отец только горько усмехнулся: мол, одно дело говорить, а другое — работать.

Это было ранней осенью.

А однажды поздней зимой, вернувшись в общежитие с работы, я застал в своей комнате отца. Он, принаряженный и степенный, сидел за столом и читал газету.

— Не ожидал? — улыбнулся. — А я еще утрешним приехал.

«Ну, значит, везде уже успел», — подумал я, но ничуть не заробел и не сконфузился: живой, веселый вид отца говорил о том, что неприятных разговоров между нами не будет...

После того и началось.

— Вовка? А чего? Работает в шахте, а вечерами учится. Все говорили: мол, кишка тонка, не выдюжит. А я сразу сказал: «Правильно, сын, молодец! Вечером у тебя теория будет, а с утра — практика. И настоящим специалистом станешь». Это не учеба, когда машины на картинке разбирают, а в глаза видеть ее не видели. А сын мой все эти машины каждый день по винтику разбирает и собирает... Живет? В рабочем общежитии. Там их человек двести, как не больше, живет. Но о моем сыне говорят самые лучшие слова. Воспитатель их, Николай Фаддеевич Графов — коммунист, старый стахановец, оч-чень серьезный человек! — как узнал, чей я отец, протянул мне руку и говорит: «Спасибо! С таким сыном, как твой, можно смело в коммунизм идти». Работает, говорит, без прогулов, учится примерно, в стенгазете лодырей и пьяниц продергивает, комсомолец... А говорили, мол, не выдюжит, кишка тонка. Цыплят по осени считают...

С ВОЛОДЬКОЙ АРТЮХОВЫМ мы жили в соседних комнатах, он был моим ровесником. Родился на Брянщине. Отца и мать расстреляли немцы. Воспитывался в детдоме. В горнопромышленном училище, в котором потом я буду преподавать, выучился на машиниста подземного электровоза. После смены в шахте у Володьки начиналась вторая смена — в красном уголке, где стояло пианино. Мечта его, надо полагать, не была нереальной, если старик-преподаватель музыкальной школы, послушав Володь-

кину игру, яростно взялся — без всякой платы — давать ему уроки. Может, Володька и в самом деле стал бы известным пианистом, но, как часто это бывает, судьбой Володьки Артюхова распорядился случай. Расцепляя вагоны, Володька сделал неточное движение, и руку его зажало. Отняли два пальца. Все, музыка, прощай навек...

Но через несколько месяцев я снова слушал Володькину игру. Только теперь он играл на скрипке.

— Ну ты молодец! Здорово! — восторгался я. Не исполнительским мастерством, конечно, — что я мог смыслить, — а тем, что он снова играет и, значит, идет к мечте. И мне захотелось, чтобы об этом парне узнали все.

«Компас» — так я назвал свой очерк. Его напечатали в городской газете и передали по областному радио. Был, да простится мне эта нескромность, маленький, местного значения фурор. Меня поздравляли, мне пророчили, меня захотел видеть сам редактор газеты... Но все это мне несколько не льстило, как не льстило бы, если бы меня поздравляли с чем-то, принадлежащим не мне. Очерк привлекал необычностью героя, о котором я всего лишь рассказал. А рассказать, считал я, может каждый. Я и сейчас считаю: нет ровно никакой заслуги журналиста в том, что он добросовестно изучил в суде дело, скажем, о хищении и написал фельетон — да еще в такой подаче, будто все сам раскопал. Это не журналистика. Должно быть наоборот: журналист раскапывает, публикует фельетон, и он становится основанием для возбуждения уголовного дела...

Отец считал иначе.

— В самом начале сказали: «Послушайте, что написал Владимир Куропатов». Во как!..

Далее следовало рассуждение, смысл которого сводился к тому, что если бы я о Володьке Артюхове не написал, то люди ничего такого не знали бы, а это все равно, что ничего такого и не было.

В какой-то мере, может, и верно, но... Но это же говорил отец. Мой отец...

Или еще он говорил:

— Самому двадцать лет от роду — уже учит.

В самом деле: первого сентября, когда я стал преподавателем спецдисциплин в профтехучилище, мне было полных двадцать, а буквально через неделю стало двадцать один. Но — рубль без копейки — не рубль, год без дня — уже не год. Однако и через год, и через два, и через пять отец начинал той же фразой в настоящем времени, правда, соответствующем прошедшему (есть такая форма речи):

— Самому двадцать лет от роду — уже учит. Да кого? Своих школьных товарищей: Вовку Блинова, Витьку Воробьева, Леньку Асанова. Все старше учителя. А раньше они Вовку учили. Курить, в чилу, в зоску играть. А он их учит — электричеству...

Опять же: верно, но с перехлестом. Вовка, Витька и Ленька ничему дурному в детстве меня не учили. То были хорошие пацаны, а потом парни. А что судьбы их получились несколько зигзагообразными, то в том не они виноваты — война.

ВЫШЕ ВСЕГО отец ценил в людях, в детях же своих в особенности, стремление к учебе, к знанию.

Если случалось, — а такое, буду честным, случалось не так уж редко, — что обнаруживал в моем дневнике или тетрадках плохие оценки, отец говорил раздраженно:

— Подыми свою бестолковую башку. Посмотри, какой свет дала тебе Советская власть! Сколько учебников у тебя! Как одет-обут! А учиться не хочешь. Да если б мне твои условия...

Когда я объявил ему о вынужденном переходе на вечернее отделение техникума, он был сражен:

— Не по-ни-ма-ю! Тебя государство учит да еще тебе же и деньги платит. Тебе! А не ты! Две двойки получил! Не понимаю! Да если б мне твои условия...

...И вот я подошел к своему дому. Отец открыл передо

мною калитку. Но во двор не пустил. Сдерживая восторг, протянул руку:

— Ну, сын, показывай.

Я достал из внутреннего кармана пиджака диплом об окончании техникума, вложил в руку отца. Черные порезанные пальцы неуклюже раскрыли твердые темно-синие корки, отец стал читать вслух:

— «Настоящий диплом выдан...» — и до самого конца. — Вот теперь проходи, — впустил во двор, вернул диплом, обнял меня. — Спасибо, сын, дождался-таки я, — и заплакал.

То были, кажется, первые и последние слезы радости, которые он пролил из-за меня.

— Ну, а дальше какие планы? — спросил уже за столом.

— Буду в институт поступать.

— Правильно, сынок. Сейчас только и учиться. Если бы мне твои условия, я бы всю жизнь учился.

ТОЛЬКО-ТОЛЬКО начался второй мой преподавательский год в училище, и меня направили в Кемерово на курсы повышения квалификации. Всего лишь на месячные. Но за этот месяц я узнал столько нового и интересного, сколько, казалось мне, не узнал за все годы учения. Особенно восхищали меня лекции Семена Александровича Франгульяна по электронике и кибернетике. Рассказывал он о вещах поразительных (для той поры, разумеется): об электронно-вычислительных машинах, об электронных мышках и черепахах, о роботах, о возможностях создания в будущем искусственного интеллекта, о реальности длительных, рассчитанных на световые годы, полетов человека в космос...

Наслушавшись всего этого, однажды я сел и написал отцу длинное полемическое — а вернее, задиристое, вызывающее на поединок — письмо, которое было в каком-то смысле продолжением того, если вы помните, неудачного моего урока, когда я хотел доказать отцу, что человек про-

изошел от обезьяны, а не создан богом или каким-то сверхсуществом. Я с пафосом доказывал, что вот теперь-то Библия посрамлена окончательно, ей сунули под самый нос хорошую фигу: человек теперь так силен и разумен, что выше его разума нет и быть не может. Он, человек, способен создать электронного собрата, «заснуть» и «проснуться» через столетия и так далее и так далее...

Отправив письмо, я стал ждать, пытаюсь угадать ответ. Доводы мои казались мне столь железными, неразрушимыми, что угадать было не так-то просто, что ответит мне отец.

Он ответил. Притом удивительно быстро. Вот его письмо от слова до слова.

«23 сентября 1961 года. Владимир Федорович, мы Ваши родители, папа и мама, получили Ваше письмо и очень радуемся в том, что Вы со временем станете очень счастливым и полезным человеком для Родины. Гордость для нас, что мы имеем такого воспитанного и ученого сына. Вы наша гордость и наше утешение. Старайся, Володя, и дальше. Повышай свои знания. Узнал много — старайся узнать еще больше. Береги время, время очень дорогое. Не только часами, но минутами дорожи. Позже ты осознаешь это и будешь благодарить родителя за такие советы. Посмотри на своих сверстников. Кто они? Все ли из них дают то, что от них ожидалось? Разумей сам. А мы радуемся и будем радоваться и гордиться тобой. Затем сообщая: с сеном закончили, сметали. Так что об этом не беспокойся, учись. Картофель еще не убрали. Еще раз желаем тебе отличных успехов в учебе. Ждем тебя домой с отличными отметками. До свидания. Остаемся твои папа и мама».

Итак, поединок не состоялся. Отец не принял дерзко брошенной мною перчатки. Я думаю, что письмо мое явилось для отца как бы зеркалом, отразившим мой восторг от всего узнанного на курсах. И он, придя тоже в восторг, пренебрег моим выпадом...

ПЫТАЮСЬ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ радость отца, если бы он дожил до этих дней...

«Большой человек», Петр Федорович, давно собирался поступить в финансово-экономический техникум. Но за разными назойливыми болезнями, а еще больше за рыбалкой с грибами сборы подзатянулись. Помогло начальство, очень недвусмысленно намекнувшее, что многочисленные краткосрочные курсы да многолетний практический опыт — хорошо, но было бы куда лучше, если бы у главного бухгалтера крупной электростанции был еще и диплом. Хотя бы о среднем специальном образовании. И бывший вояка, узник концлагеря в Замосцье, партизан, надсадивший здоровье и перенесший несколько сложных операций, в сорок два года решился... Да, что ни говори, а решился он на подвиг. Засел за учебники для восьмого класса. Однако, натолкнувшись на уйму непонятностей, «перешел», как он говорил, в седьмой. Не потянул и в седьмом. В шестом — тоже. В пятом зацепился, предварительно кое-что усвоив из учебников четвертого... Потом началось движение по восходящей — до восьмого. На вечернее отделение техникума Петр Федорович поступил «без запинки».

Он — техникум, я (на восемнадцать лет моложе его) — институт закончили в один год. Он получил темно-красный диплом, я — обычный, темно-синий, правда, с весьма хорошим вкладышем, но все-таки обычный.

Когда мы с ним встретились: он сказал мне по секрету:

— Есть одна интересная темка. Засяду скоро за диссертацию. Советуешь?

— За диссертации садятся те, у кого высшее образование.

— Но все равно же у меня — диплом.

— Высшее нужно.

— Это формализм. Тема актуальная. Экономический эффект... Может, в порядке исключения, а?

— Что ты со мной торгуешься? Я же не ВАК. Нужно закончить вуз.

— Жаль. Такая тема,— приуныл, призадумался. И совсем буднично, как о походе в кино:— Тогда пойду в институт.

— Серьезно? А годы-то...

— Что мне годы. Теперь я как рысак: разбежался — не остановиться... Приду в приемную комиссию, выложу свой диплом — и я студент. И поеду на рыбалку. А вы, товарищи абитуриенты, готовьтесь к сочинению...

Между двумя датами — двадцать вторым июня 1941 года, когда день рождения Петра Федоровича был отмечен в Шепетовке немецкой канонадой, и двадцать вторым июня 1974 года, когда мой брат получил диплом об окончании вуза и вместе с другими выпускниками пошел гулять по набережной Невы и Марсову полю, а потом за семейным столом сидел на месте именинника,— между двумя этими датами мне видится связь самая прямая: начало войны и — ровнехонько через тридцать три года — конец учебы Петра Федоровича.

— Не я, а преподаватели говорят: мне надо памятник поставить. Рядом с «Медным всадником».

Насчет памятника — не знаю. Но те, кто в преклонном, считай, возрасте, попережив на своем веку всякое, на совесть, как мой брат, заканчивают вузы, достойны глубокого почитания.

— Вот теперь садись за диссертацию. Тема-то еще не устарела?

— Тема свое сделала. Могу и взяться. Но...— махнул рукой.— Ты знаешь, какая у меня сейчас интересная работа?

И стал рассказывать о своей работе. Теперь он главный бухгалтер Ленинградской атомной электростанции. В самом деле, должность у него очень интересная. Даже немного завидно.

...Если бы знал отец это. И то, что внуки его стали инженерами. А теперь вот уже правнук и правнучка... Пытаюсь представить торжество отца и не могу что-то. Навер-

ное, потому, что мне, например, это кажется уже обыденным. Может, и ему так же казалось бы? Или нет? В общем, не знаю...

КАК-ТО, ЛИСТАЯ СВОЙ ДНЕВНИК, я обнаружил запись, сделанную летом шестьдесят второго года:

«Позавчера отец, не видя, что я в доме, сказал тете Ане (сестра Александры Михеевны) обо мне: «Чистый, как девушка». Мне сделалось стыдно, щеки запылали будто я и впрямь девчонка. Все это время хожу под впечатлением тех слов отца. Какой он все-таки у меня!.. Это сначала он, старик,— чистый и целомудренный, если так думает обо мне, своим сыне...»

ВОСПОМИНАНИЕ. После окончания техникума — а кончил я его все-таки больше для отца, чем для себя,— я решил заняться собой вплотную. Наметил план и с азартом принялся выполнять его, но скоро убедился, что если буду жить в общежитии, то план мой останется всего лишь планом. Бесшабашность и веселье, задушевные разговоры до утра... Да и братство наше — Юрка Лоншаков, Валерка Шеметов и я — распалось к тому времени: Юрка поступил на очное отделение института, Валерка женился, в комнате поселились новые парни, которые, я считал, уже не заменят тех, что ушли. Я стал вечерами искать частную квартиру. Чтоб жила тихонькая бабушка и я с ней.

— Зайди-ка, парень, вон в тот дом. На первом этаже квартира направо. Зайдешь — комната направо,— посоветовали мне две женщины на улице недалеко от училища, в котором я работал.— Должна пустить. Она пускает молодых людей.— И загадочно улыбнулись одна другой...

Войдя в комнату, я немного опешил и растерялся. Из-за стола навстречу мне поднялась молодая, с пышными распущенными волосами женщина, очень похожая на тетю Шуру, дежурную из нашего общежития.

«Дочь», — подумал и заметил, что женщина тоже смутилась и растерялась, собрала волосы в пучок, закрутила на несколько витков. Оказалось, это была сама тетя Шу-

ра, которую я привык видеть в платке, ватнике и брюках— в одеянии, которое не молодит женщину.

— Проходи, Володя...— В глазах вопрос: мол, какими судьбами?

И я поспешил объяснить, каким образом оказался в ее комнате.

— Так переходи и живи,— сказала она и, не размышляя и секунды, указала на одну из двух кроватей. Никаких условий не выставила, меня о том же не спросила. Такая необычайно легкая ее сговорчивость привела меня в замешательство.

— Или не нравится?

— Да почему...

— Тогда иди за вещами, а я немного приберусь.

По дороге в общежитие и обратно, когда нес чемодан, меня одолевало непонятное сомнение, что я делаю верный шаг, переселяясь именно к тете Шуре.

Но уже на следующий день от сомнения моего не осталось и следа. Я считал, что устроиться лучше и невозможно. Тут тебе и все преимущества частной квартиры — тишина, покой, никто не грохает дверью, никто не включает свет среди ночи и так далее — и одновременно преимущества жизни общежитийской: в нашей комнате как-то сама по себе сразу возникла маленькая коммуна. Хозяйка моя, которую я теперь называл просто Шурой и чем дальше, тем больше удивлялся, как мог раньше произносить ее имя в сочетании со словом «тетя», оказалась человеком необычайно общительным, общественным и напроць, до непривычности лишенным каких бы то ни было обывательских предрассудков, пренебрегающим всеми условностями поведения и морали. «Честь — в душе человека», — повторяла она, и эти слова были единственным ее законом.

...Шура окончила педагогическое училище, преподавала в начальных классах, но из-за сильных головных болей оставила школу. Была замужем. Всего две недели: Сергею, с которым дружила, пришла повестка о призыве в ар-

мию, и ему захотелось уйти на службу женатым. На первом же году службы он погиб на границе при задержании диверсанта... Год назад вот так же, как и меня, пустила на квартиру молодого шахтера. И влюбилась в него. Призналась ему в этом. Однако он истолковал ее признание по-своему, пошло. Она его выперла. С треском. Среди ночи. Пусть он повел себя по-хамски, но Шура все равно любит его. Пожалуй, скорее придуманного его...

Что это было за время — месяцы нашей коммуны! Кажется, что потом я уже никогда не испытывал такой жажды жить, знать, работать, учиться, спорить, дружить... Это в ту пору я выступал на педсоветах с реформаторскими — до стыдного наивными, но шедшими от сердца — предложениями, читал русских и зарубежных классиков, книги по эстетике, истории, педагогике, приучил себя систематически, а не от случая к случаю, как раньше, вести дневник, отправлял и получал по нескольку писем в день, не пропускал ни одной кинокартины. В кино ходили вместе с Шурой. Часто к нам примыкал Петька Володин — мой друг, поэт, хулиган, слесарь пивзавода, вечный студент-вечерник горного техникума и парень чистейшей души. Каждый фильм обсуждали, спорили крикливо, до хрипоты и ненависти друг к другу, особенно если фильм был о любви, которую Петька начисто отрицал, видя во влюбленных лишь эгоистов. Он так и говорил: «Любовь — это обоюдный эгоизм». Мы с Шурой выступали против Петьки единым фронтом, так как были на равных: я тоже был влюблен, глупо объяснился и получил далеко не окрыляющий ответ. Но мы с Шурой жили тем торжественным и счастливым, что ждет нас впереди.

— Одна дружба не знает корысти! — утверждал Петька.

— Влюбишься — заговоришь иначе! — возражали мы с Шурой.

По воскресеньям на общей кухне мы с Шурой варили и стряпали, а потом учиняли — коммуна! — стирку и гла-

жение. Приходил Петька, отведывал наших блюд и декламировал свои стихи, отрицающие «обоюдный эгоизм» и воспевающие верную дружбу. И вспыхивал диспут. Мы его переносили в комнату, чтобы не оглушать соседей.

В комнате напротив жил горный мастер с женой и трехлетним сыном. Одна запомнившаяся деталь: даже выходя на кухню за кружкой воды, жена горного мастера, худая, растрепанная и всегда, но неискренне улыбающаяся, замыкала дверь своей комнаты ключом, который висел на веревочке у нее на шее. В третьей комнате, наискосок от нас, обитала одинокая — ребенок воспитывался у матери, — таких же лет, как Шура, разведенка — мастер швейной фабрики. Чопорная и строгая чистюля с застывшим выражением безразличия на лице. Обе соседки меня несколько не занимали и, казалось мне, я их тоже. Но один мой коллега-преподаватель зашел как-то ко мне в лабораторию и, цинично улыбаясь юркими масляными глазками, сказал:

— Что ты с ней это самое — понятно. Но простыни-то пусть сама стирает...

А через какое-то время поманил меня пальцем замполит:

— Зайди-ка.

Я зашел.

Он говорил мне, что я педагог и свои шашни должен скрывать, во всяком случае, не рекламировать. А вообще-то есть пословица: не блуди там, где живешь и не живи там, где блудишь.

Он еще что-то говорил, но я уже не слушал его, гадал: откуда? И вспомнил: наш замполит был другом Ивана Ивановича, директора швейной фабрики, на которой работает мастером соседка-чистюля, а коллега-преподаватель был приятелем моего соседа, горного мастера.

Новый год мы встречали втроем: Шура, Петька Володин и я. Поздравили друг друга. Выпили по рюмке вина. Но ощущения праздника не было. Шура грустно молчала,

а Петька принялся стыдить и судить меня. Но я уже принял решение. Вернее, я уже дал слово Ивану Кондратьевичу.

Мастер производственного обучения Иван Кондратьевич Загоруй был затейником на новогоднем празднике для наших учащихся. Кроме всего прочего, устроил беспроигрышную лотерею: разгадай загадку—получи расческу, авторучку, книгу, зубную щетку... Запас загадок у Ивана Кондратьевича иссякал, а всевозможные сувениры лежали еще грудой на столе. И он поймал меня, проходившего мимо, за рукав:

— Выручай.

Благополучно закончив лотерею, мы объявили танцы, потом устроили конкурс на лучшего чтеца, потом были разные игры, опять танцы... Новогодний бал закончился в четыре часа утра тридцать первого декабря.

— Спасибо,— протянул мне руку в комнате мастеров Иван Кондратьевич,— выручил.— И спросил без всякого перехода: — Ты же на частной живешь?.. Понимаешь, уезжаю в отпуск в родную Хохляндию, а жена с дочкой боятся оставаться одни. Выручи еще раз — поживи у меня месячишко. А лучше всего переходи совсем. Отдельная комната будет. Ну?..

И я согласился. Нет, не потому, что поползли грязные разговоры: наплевать! «Честь — в душе человека!» И не очень-то я соблазнился отдельной комнатой. Конечно, выручить еще раз понравившегося мне за ночь весельчака Ивана Кондратьевича хотелось, хотя на худой конец его мог бы выручить и кто-нибудь другой. Прежде всего мне хотелось выручить себя и Шуру, защитить нас от того, что, казалось мне, надвигалось и называлось на петькином языке «обоюдным эгоизмом»...

Не знаю, каким ветром, но и до моего родительского дома долетели слухи, что «Вовка спутался с какой-то...» Должно быть, отец шибко переполошился, если, всегда тяжелый на подъем, он быстро собрался и первого января

на полных парах прикатил ко мне. Я как раз понес чемодан к Ивану Кондратьевичу. Шура, ничего не объясняя, сказала, что я скоро приду, пригласила отца к столу и стала потчевать чаем. Зная характеры того и другой, могу предположить, какой душевный завязался между ними тут же разговор. К моему приходу за очередной партией книг отец и Шура были уже друзьями — любо посмотреть.

Для приличия тоже немного посидев за столом, я поднялся.

— Ну, пошли, пап.

— Куда? — удивился отец.

— Я перешел на другую квартиру.

Чтобы не стеснять нашего разговора, Шура незаметно вышла на кухню.

— А чего тебе, сын, здесь не живется? И я б спокоен был: хозяйка у тебя хорошая, серьезная женщина.

— Сам видишь: тесно.

— В тесноте — не в обиде. А там еще кто знает, как...

— Разные сплетни ползут.

— А как ты хотел? Где люди — там и сплетни. На каждый роток не накинешь платок. А Шура ой хорошая женщина. Я тут вам гостинцев привез.

— Я, пап, уже все вещи перенес. Пошли.

Отец за руку распрощался с Шурой, дошел до порога и вернулся.

— Я в этот дом вез,— и выложил на стол содержимое сумки.

Шура тихо отошла к окну. Кажется, она плакала...

Иван Кондратьевич и его жена Татьяна Ивановна тоже пришли сразу же по душе моему отцу. Но Шуру не забывал. Часто спрашивал:

— У Шуры бываешь?.. Сходи как-нибудь — там же близко — передай от меня поклон. Хорошая, серьезная женщина...

Через два года Петька и Шура пригласили меня на свою свадьбу. К тому времени — почти в тридцать лет —

Петька окончил-таки техникум и бросил писать стихи. С благодарностью приняв привет от моего отца, Шура сказала:

— А на тебя я все равно сержусь. Разговор испугался? Или...— Она не договорила. Очевидно, признав невероятным то, что хотела сказать.

Вскоре они уехали в другой город, тоже шахтерский. МЫ С ОТЦОМ очищали двор от снега. Три дня назад отец приехал из Калтана, где гостил чуть ли не целую неделю, и теперь рассказывал мне, у кого из родственников и знакомых был, как его принимали, какие у кого перемены.

— Надя замуж вышла. Мужик, слава богу, хороший попался, работающий и Валерку прямо как родного любит. Все хорошо, да вот...

— Попивает?

— В рот не берет. Другое, сын,— заглянул мне в глаза — говорить, не говорить? Сказал с досадинкой: — Слабоват немножко.

— Как — слабоват? — не понял я.

— Ну как,— усмехнулся.— Ночью.

Я смутился до крайности. Заметив это, отец легонько упрекнул:

— Ты, сын, взрослый уже. Через год-два сам женишься. А это, скажу тебе, тоже не последнее дело в жизни...

И заговорил об этом непоследнем деле. Ненавязчиво и явно с воспитательными намерениями.

Опершись на лопаты, мы стояли друг против друга. Отец говорил, я слушал, задавал вопросы... И уже почти не смущался, не краснел. Подумать только, такой разговор! С друзьями, даже с самыми близкими, не получается, а с отцом — запросто, как о любом другом непоследнем житейском деле.

ВОСПОМИНАНИЕ. Мы встречали второй послевоенный Новый год. Я учился в первом классе. В школе был ученик. Ученики, подбадриваемые Дедом Морозом и

Снегурочкой, выходили к елке и с запинками рассказывали стишки, вразнобой пели песенки, разыгрывали малоопытные, а потому и скучные сценки. Но это ничуть не омрачало праздника, потому что самая приятная, волнующая минута была впереди. Ее ждали с затаенным нетерпением. И вот наконец она настала. Дед Мороз принес из учительской эмалированный таз, с горой наполненный подарочными кулками, а Снегурочка достала из-под полы бумажку и, заглядывая в нее, стала называть фамилии:

— Кочуганова... Ерофеев... Данилов...

Ученики подходили к Деду Морозу и получали из его рук кульки. Что моя фамилия есть в бумажке Снегурочки, я не сомневался, но все же переживал, как бы Снегурочка не ошиблась и не назвала вместо меня кого-нибудь другого, ведь все-таки фамилии были сходные. Я даже не представлял, что было бы со мной, если бы Снегурочка чего-нибудь напутала.

→ Шабров... Кречетова... Куракин... — медленно и внятно читала Снегурочка.

А кулков в тазу все убывало и убывало.

Я уже стал беспокойно поерзывать на скамейке, да и вид мой, наверное, был уже кислый, когда, наконец, услышал свою фамилию. Сорвавшись с места и не пройдя половины расстояния, что отделяло меня от Деда Мороза, я пролепетал блеклым голосом «спасибо» и протянул вперед сразу обе руки. Получив свой первый в жизни новогодний подарок, я, захлебываясь от радости, вприпрыжку побежал к выходу.

На улице, сглатывая слюну, с бережливой нетерпеливостью открыл кулек, в нем были бледно-зеленые карамельки — «подушечки». Точь-в-точь такие же, какие мать иногда приносила из магазина. Только, казалось мне, у этих вид был особенный — праздничный, и блестели они по-другому — игриво и весело. А запах от них исходил до того соблазнительный, что у меня слегка затуманилась голова.

Двумя пальцами, будго пинцетом, я осторожно подхватил одну «подушечку», положил на зуб и раскусил. Весь рот обволокло густым холодящим ароматом. Я ощутил такое удовольствие, какого никогда до сих пор не испытывал. Язык стал перебрасывать осколки конфеты от одной щеки к другой, осколки таяли, таяли и вдруг исчезли. И сразу на душе стало как-то неуютно. Я очень удивился этому, даже повел плечом.

Тогда я взял две «подушечки»: хрум, хрум.

Хруп, хруп — в такт отозвался снег под валенками. Это вышло неожиданно и забавно. Я тут же отправил в рот три «подушечки», и у меня получилось уже нечто иное: хрум-хруп, хрум-хруп, хрум-хруп...

Потом обнаружились и другие варианты. Оказалось, их было очень много, и разнообразие их зависело не только от того, в какой последовательности я раскусываю «подушечки» и переставляю ноги, но и от того, как часто раскусываю «подушечки» и как часто переставляю ноги. Самый интересный вариант, заключил я, тот, когда поживее работаешь челюстями и шагаешь ровно, без спешки. Тогда получается: хрум, хрум, хрум-хруп.

Я так увлекся этой необычной игрой, что не заметил, как подошел к своему дому. Возле ворот сунул руку в кулек, но там уже ничего не было. Неужели? Заглянул — пусто. Только несколько изумрудно поблескивающих осколочков лежало на дне. Я разочарованно высыпал их на ладонь, слизнул, а кулек скомкал и забросил в сугроб.

В дом я вкатился вместе с густыми клубами холодного воздуха. Мать хлопотала у печки. Отец сидел за столом и по-купечески, из блюдечка, пил чай. Это была одна из странностей моего отца: перед тем, как начать есть, он всегда напивался чаю. Посреди стола стояла тарелка с пышными румяными пирожками. Я догадался по запаху, что это были мои любимые пирожки с морковкой.

— Вот и сын пришел, — обрадовалась мать, — сейчас завтракать будем. Ну, как там, на елке, хорошо было?

— Ага, здорово! — ответил я разухабисто, забрасывая на вешалку шапку.

— И подарки Дед Мороз давал?

— Ага! «Подушечки»! — все тем же тоном сказал я и сбросил пальто.

— Ну, угости нас с отцом. Мы ждали.

— А? — переспросил я, и мои глаза встретились с добрыми, ласковыми глазами матери.

— Мы, говорю, ждали, когда гостинца нам принесешь. Голова моя мгновенно, как подрезанная, упала на грудь, пальцы, липкие от «подушечек», затеребили пуговицу на новой, сшитой матерью специально к празднику, куртке.

— Ты чего, сынок?

В ответ я шмыгнул носом.

— Так где же твои конфеты?

Я виновато засопел.

— Мимо Волосниковых шел? — зачем-то поинтересовался отец.

Я утвердительно кивнул.

— Тогда понятно. Подарок Пальма у него отобрала.

— Да ну. Где ей, Пальме, отобрать, она ж меньше нашей кошки, — возразила мать. — Наверно, когда обметал валенки, положил кулек на лавку и забыл, — мать глянула в заиндевелое окно. — Вроде, правда, лежит.

— Иди, забери скорей, а то и впрямь Пальма учует, прибежит и съест, — сказал отец вкрадчиво.

— Или уже сам съел? — не столько вопросительно, сколько утвердительно сказала мать с обидой и уже с открытым укором.

Я засопел еще гуще, чем, разумеется, и подтвердил предположение матери.

— Вот молодец, сын, так молодец. Угостил родителей. Хоть бы по одной конфеточке принес. Петя с Шурой, бывало, всегда принесут. А ты в кого такой?..

Мне было мучительно стыдно. Я настойчиво искал выхода из своего унижительного положения. Но что можно было найти, что придумать? Всё против меня. И все-таки я решил прибегнуть к своему испытанному приему. Кстати, подсказанному самой же матерью. Однажды я что-то такое натворил — не то залез в крынку со сметаной, не то в туюсок с медом — и стоял перед ней, как и сейчас, опустив голову. Мать, тряся пальцем возле моего носа, строго сказала: «Знаю я тебя: когда не виноват — плачешь, а виноват — так только сопишь. Вот и сейчас...» Эти слова матери я намотал на ус, при каждом разоблачении стал пускать слезу, и это почти всегда помогало мне избегать шлепков и подзатыльников. Конечно, сейчас был совсем не тот случай, но у меня другого выхода не было, и я решил: испытюк — не убыток, авось да поможет. Страдальчески перекосив лицо, я изо всех сил стал выдавливать слезу, одновременно тряс плечами и силился зареветь.

Но мои старания вызвали на этот раз совсем не ту реакцию, на которую я рассчитывал.

— А! Ты еще и плакать! Чтоб тебя!..— Обида матери вырвалась наружу. И схватив оказавшуюся под рукой мокрую тряпку, она замахнулась было на меня, но отец остановил ее:

— Подожди.

Он обратился ко мне ласково, для моего отца даже чересчур, настораживающе ласково в таком случае.

— Сегодня праздник, Новый год. А ругань с праздником не дружат. Садись, сынок, за стол и ешь. Вот пирожков мать напекла, твоих любимых, с морковкой,— отец подвинул тарелку с пирожками ближе ко мне, к самому краю стола, и еще ласковее:— Садись, ешь.

Лицо отца было светлым и улыбчивым, оно могло бы вызвать доверие, если бы не глаза. Серые, острые, они смотрели из-под навеса лохматых бровей насмешливо и ядовито. В них была непонятная гипнотическая сила, и я почувствовал себя ничтожным жалким существом. А во

рту стало сухо. И так отвратительно горько, как если бы я только что жевал не душистые «подушечки», а степную, выжженную солнцем полынь.

— Так садись же, ешь...

...Моя дочь покупает иногда «подушечки» — любит — и угощает меня. Я беру конфету, но не сразу решаюсь ее съесть: раскушу, а вдруг она — горькая. Как полынь.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ у меня была первая получка. Вернее — аванс. Приняв от кассирши громадную сумму — семьсот рублей, — я поначалу даже растерялся: таких денег еще никогда не держал в руках. Но слишком долго я их ждал, чтобы не знать, как ими распорядиться.

Прямо от кассы пошел на центральную почту и впервые в жизни заполнил бланк денежного перевода на 100 (сто) рублей. В графе «для письменного сообщения» написал: «Папа, это тебе на уголь». И остался доволен собой: я работаю в угольной шахте, и первый мой подарок отцу — деньги на уголь.

Преисполненный чувства гордости за самого себя, с почты направился в магазин промтоваров. Подошел к витрине с часами и попросил продавщицу показать облюбованные еще на прошлой неделе часы «Победа» с черным циферблатом. Чуть-чуть повернул зубчатую заводную головку, и секундная стрелка суетливо, будто обрадовавшись, что состояние покоя наконец-то кончилось, побежала по кругу. И, между прочим, она бежит по сей день. Часы марки «Победа» — очень хорошие часы, даром что без Знака качества. Но я их уже давно не ношу: устарели морально. Ни дочь, ни сын тоже не надевают — по той же причине: немодные. Все верно. Любая вещь имеет свой конец. Отличные отечественные часы марки «Победа» — тоже. Они всего лишь прибор для измерения времени, но не само время, не имеющее ни начала, ни конца...

На выходной я, как всегда, приехал домой. Возле магазина встретила тетя Груша Плетнева.

— Здравска, Вовка. Поди, теперь каждый месяц бу-

дешь отцу деньги слать? Вчерась он хвалился: прислал, говорит. Как же, помогай. Он уже слабенький у тебя,— в глазах тети Груши и удивление — мол, давно ли голопущий бегал, а уже шахтер,— и поощрение, и почтение, и маленькая зависть...

— Получили, сын, получили. Спасибо,— поблагодарил меня отец, едва я переступил порог.

Мне живо представилось, как вчера он с высоко поднятой головой бодро вышагивал через все село на почту. Еще издали здоровался со встречными односельчанами и, не дожидаясь, когда у него спросят, куда это он держит путь, говорил с тем напускным равнодушием, которое означает высшую степень гордости:

— Иду вот на почту деньги получать..— И ждал вопроса.

— Кто прислал? — следовал вопрос вполне естественный.

— Сын. Вовка!

— Вовка?!

— Теперь уже и Вовка, Груня!

— Молодец.

— А немолодцом-то не в кого быть...

На почте ждал, ждал, когда вечно медлительная, будто спросонья, тетя Паша — оператор — хоть что-нибудь скажет или спросит — не дождался. Принимая деньги, не утерпел, заметил:

— Вовка прислал.

— Вижу, что не Петро,— сказала своим плаксивым голосом тетя Паша и уткнулась в бумажки.

«Чуча ты, и есть чуча!» — возразил ей про себя отец и притворил за собой дверь чуть с большей силой, чем нужно бы.

Представил я и то, с каким нетерпением ждал сегодня отец моего приезда. Все поглядывал на часы, прислушивался к паровозным гудкам, к шагам за воротами. И вот дождался. И сказал мне это слово — *спасибо*...

Поужинали, поговорили немного.

Отец поднялся, ушел в горницу и вынес новые черные боты «прощай молодость».

А ну-ка, надень. Самый раз должны быть.

Я посмотрел на отца с укором и грустью, как если бы он ненароком разбил мою новую дорогую вещь, которой я не успел еще даже вдоволь налюбоваться.

Отец, должно быть, угадал мои чувства и мысли, несколько смутился.

— Так есть же пока уголь. А бот у тебя нету. Вчера по пути зашел — стоят.

— Я бы сам купил.

— Ага. Будут тебя ждать. Поди, раскупили уж — сезон начинается...

Как всякий работающий человек, я аккуратно, два раза в месяц получал зарплату. Но больше ни разу не отправлял отцу денег. И когда приезжал домой, и когда отец ко мне приезжал — не давал, хотя все обещал себе: вот куплю то-то и и то-то и стану понемногу помогать отцу. Однако за тем-то и тем-то возникала необходимость в том-то и в том-то. Дальше — больше. Словом, как всякий сын...

А отец оставался отцом. О том, на какие деньги купил мне «прощай молодость», он, конечно, забыл на другой же день. А вот о почтовом переводе, о тех ста рублях помнил.

— Вот Вовка мой, — говорил при всяком удобном случае. Впрочем, неудобных случаев тут у него не было. — Свое первое жалованье получил и сразу же прислал сто рублей отцу на уголь. Не забыл. Хотя у самого, считай, ничего не было: ни одежды, ни обуви. Нет, прислал. С первого же жалованья...

«С первого же...» Послушать отца, так выходило, — а собеседники его, наверное, так и понимали, — что будто я присылал ему деньги и со второй, и с третьей... и с каждой очередной полочки. Ну, а впервые — с первой...

Он умер, а благодарность его осталась, так я думаю. Все, без чего не может быть ни отца, ни сына — Совесть, Добро, Благодарность, — измеримо, но бесконечно, как жизнь, как время. Сам же человек сравним с часами, стрелка которых рано или поздно остановится навеки: у человека есть физическое начало и конец.

ВОСПОМИНАНИЕ. В техникум я поступил довольно легко, безо всякой — к моей чести! — посторонней помощи и был зачислен на стипендию. Меня, как и должно быть, окатила мощная волна радости, и, самодовольно про себя улыбнувшись, я подумал:

«Вот я и барин!»

Это отец все твердил мне:

— В горный поступай. И от дома близко — всегда приедешь, возьмешь чего, и стипендия там — двести восемьдесят пять рублей. Не шутка — сказать! Я б на такие деньги жил бы как ба-рин...

Представление о барской жизни, разумеется, у каждого свое. Например, я в те свои пятнадцать лет считал: на ком шевиотовые брюки — тот и барин. О трости и обо всем прочем бело-розово-голубом к тому времени я уже забыл, мечтал я теперь о более реальном — о шевиотовых брюках. Но, правда, не о каких попало. Свои брюки-мечту я часто видел во сне: темно-синие, с искоркой, чуть-чуть отливающие серебром, с хорошо наглаженными — осторожно: обрезать можно! — стрелками... Словом точь-в-точь такие, какие были на мордастом пацане, который однажды летом приезжал из города к Рыбаковым. И я решил: поступлю в техникум и с первой же стипендии куплю себе шевиотовые брюки или отрез. Хотя в ту пору это было не так-то просто, я не переставал мечтать и надеяться, что, может, мне как-нибудь повезет.

Мне в самом деле повезло.

Однажды в субботу утром, перед самым началом занятий к нам в комнату вошел третьекурсник Робка Скрипов. Через его руку были перекинута именно такие брю-

ки, о каких я мечтал: шевиотовые, темно-синие, с искоркой, чуть-чуть отливающие серебром, с хорошо наглаженными — осторожно: обрезать можно! — стрелками.

— Совсем новые. По дешевке отдаю. Кому?

— Дай примерить, — попросил я.

— Да подойдут, — сказал Робка. Но надень, если хочешь.

— Как на тебя шили! — сказал Витька.

— Шика-а-арно! — с протягом подтвердил Борька.

— Самый раз, — с вполне понятной грустью произнес Робка.

— Сколько? — спросил я у него.

— Сотню давай и — квиты.

— Через четыре дня. Со степона.

Робка скучно усмехнулся:

— Потому, салага, и продаю, что степен только через четыре дня, — и потребовал, будто навел на меня пистолет: снимай.

— Сегодня еду домой, завтра — отдаю, — сказал я тоном, просящим пощады.

— Снимай, — дуло пистолета твердо нацелилось в мою грудь. Я машинально, будто защищаясь от пули, приложил ладонь к груди, а два пальца тут же скользнули в накладной карман куртки.

— Только двадцать четыре рубля... Возьми пока.

— Снимай, — палец Робки уже давил на спусковой крючок. Все — мне конец.

Я посмотрел на Витьку с Борькой. Должно быть, на моем лице было написано такое страдание и такая мольба о помощи, что сердца моих товарищей тут же наполнились сочувствием, и они поспешили протянуть мне руку помощи.

— У меня тридцатка, — сказал Витька, — двадцать, так и быть, даю.

— Да моих пятнадцать, — приплюсовал Борька.

— Полста девять, — кисло вато подытожил Робка и,

прикусив нижнюю губу, задумался. Было видно: он колебался. Кажется, это был слабенький лучик надежды, и я торопливо напомнил:

— Остальные — завтра привезу.— И сердце мое остановилось в ожидании окончательного решения.

— Ладно, давайте,— махнул рукой Робка.

Дуло пистолета исчезло. Сердце колыхнулось в груди, будто язык в колоколе, возвещающем о великом празднике. Да, ко мне пришел наконец праздник, долгожданный и великий. На мне брюки-мечта: шевиотовые, темно-синие, с искоркой, чуть-чуть отливающие серебром... И эти брюки — мои!

Мне хотелось пойти в них на занятия и щегольнуть перед всей группой. Но, подумав, решил, что будет гораздо эффектнее явиться в новых брюках завтра вечером в актовый зал на танцы. К тому же за них надо еще полностью рассчитаться. Снял обновку, аккуратно сложил и повесил на спинку кровати.

Знать бы, чем это для меня обернется!

Когда я пришел с занятий, брюк на спинке кровати не было.

«Украл! — я похолодел от ужаса.— Кто?!..»

Вопроса «Как?» не возникало: комнаты в нашем общении не запирались.

И тут вошел Робка.

— Брюки украл!

— Успокойся, салага, не украл. Их Железнов забрал.

— Как?.. Почему?..

— А потому, что он мне сразу выложил сотню. Вот твои пятьдесят девять, пересчитай.

— Это нечестно.

— Сейчас мне не честь, а деньги позарез нужны. Понял? — Робка положил на стол деньги и вышел.

Значит, Железнов... Он учился в параллельной со мной группе и жил наискосок от нас.

Я вошел в комнату в тот самый момент, когда Железнов, стоя на табуретке, оттопырив зад и круто повернув голову, рассматривал в зеркале напяленные на себя мои шевиотовые брюки.

— Вор,— сказал я недобро, с вызовом.

Железнов удивленно улыбнулся:

— Я, что ли? Я у тебя ничего не крал. Ни у кого не крал.

— Это мои брюки,— я дернул за штанину.— Снимай!

— Вовка, ты чего!? Я их купил у Робки Скрипова.

— А висели они где? На моей кровати.

— Я заплатил за них сто рублей,— уже с жестокостью в голосе сказал Железнов.— Значит, они мои.

— Вор! Перехватчик!— густело во мне возмущение.

Железнов прыгнул на пол, посмотрел пристально в мои глаза, сложил кулак, поднес к моему носу.

— А вот этого не хочешь?

— Это,— я отвел его кулак в сторону,— у меня тоже есть.— И размахнулся, чтобы заехать по физиономии Железнова.

Железнов очень вовремя — про себя я отметил быстроту его реакции — поднял табуретку, и я сбил казанки пальцев о ребро ножки.

— Будешь махать — двину так по башке, что уши проглотить.

— Снимай, сволочь, брюки!

— Я уже сказал: брюки я купил за сто рублей. И кенай отсюда, пока при памяти.

Я понял, что ничего мне от Железнова не добиться...

Отец сразу же заметил, что я чем-то сильно расстроен и опечален. Спросил:

— Чего, сын, журишься?

Я рассказал.

— Жалко, конечно,— посочувствовал отец.— Но у тебя же пока есть штаны, а там купишь.

— Таких не куплю,— сказал я почти сквозь слезы.

— Разве что лучше.

Я обиделся на отца и лег спать. Но не спалось. Я чувствовал себя обманутым и униженным. Робкой и Железновым. Во мне поднимался ярый протест и жажда отмщения. Говорят: договор дороже денег. Робка нарушил наш договор. Значит, он должен за это ответить. А Железнов? Видел же, что брюки в чужой комнате. Не просто же так они оказались на спинке моей кровати. Перехватчик! Вор! Нечестно!.. И я решил: раз отцу все равно, пойду в комитет комсомола или прямо к директору техникума.

На другой день, собираясь на поезд и все еще сердясь на отца, я сказал ему с вызовом:

— Завтра пойду к директору техникума.

— Зачем?

— Расскажу, как меня обманули. Пусть им попадет. Или,— я сжал кулаки,— сам им морды набью.

— Ну, положим, морды бить — это лишнее.

— Ничего не лишнее. Раз у них совести нет.

— Ты, сын, не торопись.

— А чего ждать?

— А если к директору пойдешь, сможешь все толком рассказать?

— Как было, так и расскажу.

Отец долго ничего не говорил. Обдумывал что-то. Наконец, сказал:

— Я приеду и пойдем вместе к директору.

— Тогда собирайся и поедем.

— Прямо сейчас?

— Ну.

— Не могу, сын. Матери с базара еще нет, а корова не поена и не кормлена. Печку надо растопить.

— Тогда завтра утром приезжай.

— Утром? Можно б утром, да...

— Что? — спросил я уже нервозно: чтобы собраться и поехать куда-нибудь, отцу всегда что-то да мешало.

— Завтра мне в собес надо сходить.

— Ну приезжай завтра вечером.

— Вечером?

— Ну.

— Послезавтра вечером,— пообещал отец.— А ты там смотри, без меня ничего не делай: все тоньше, чем тебе кажется.

Судьбе будто захотелось посмеяться надо мной: первый, кого я увидел в коридоре общежития, был Железнов. Он шел мне навстречу быстрой семенящей походкой. Глаза мои вцепились в брюки. Нет, он не в ...новых, то есть не в моих,— на нем были старые, чистые, тщательно отутюженные. Поравнявшись со мной, Железнов, как будто между нами ничего и не было, сказал:

— Здравствуй.

Меня это возмутило. У него еще хватает совести здороваться. Сти-ля-га! Я послал вдогонку Железнову презрительный взгляд. И увидел: на брюках его — заплата. На том самом месте, где материя протирается чаще всего. Заплата была небольшой, аккуратно наложенной, и по цвету она почти не отличалась от материала брюк, но все равно заметной.

«Детдомовец несчастный...» — подумал я с сознанием собственного превосходства и твердо зашагал по коридору.

Но вдруг — не знаю, оттого ли, что обозвал про себя Железнова «несчастливым детдомовцем», или оттого, что заметил на его брюках незамеченную раньше заплату, или от того и другого одновременно — мне сделалось вдруг совестно. И тут же вспомнилось, как осенью — все мы только-только вернулись с сельхозработ — к Железнову приехали двое пацанов. Они привезли ему гостинцы: ватрушки с вареньем и с творогом. Железнов угощал знакомых ребят ватрушками и говорил: «Которые с творогом — Танюшка, сестренка моя пекла». Помнится, мне досталась ватрушка с творогом.

К двери своей комнаты я подошел с чувством вины перед Железновым и тонким, как лезвие бритвы, чувством неприязни к самому себе.

Борька с Витькой были уже принаряженные, прилизанные, наодеколоненные и, походило, поджидали меня.

— Вот он!

— Явился модник! Сегодня в актовом зале духовой играет... Э, а где твои новые штаны?

— У Железнова.

— Как это?..

Я рассказал парням, что было вчера после занятий (Витька с Борькой, чтобы успеть на свой поезд, с последней лекции сбежали), рассказал вкратце, не вдаваясь в подробности и стараясь казаться побезразличнее.

Борька посмотрел на мои брюки.

— Да у тебя и эти еще хорошие.

— А говорят, что Робку в поезде ревизор оштрафовал,— сказал Витька.— Из сотни на билет не мог выкроить? Жмот...

— Пацаны. Между нами,— Борька испытующе посмотрел на меня, потом на Витьку.— Только между нами... У Робки батя кассиром работает. Так вот, его посадить могут. Недостача какая-то... Мне вчера по секрету в курилке сказали.

— Кто? — спросил я, тут же поняв нелепость вопроса.

— Не твое дело. Он еще часы продал... Так ты идешь на танцы?

— Устал. Дрова с отцом кололи,— соврал я.

Парни ушли. Я посмотрел на свои брюки. Они действительно были еще вполне приличными, хотя и не шевиотовыми, брат Петр подарил мне их почти новыми: после стирки сели и стали коротки ему.

А послезавтра вечером, вспомнил я, приедет мой отец, чтобы вместе идти к директору. Сердце заныло. Что я скажу отцу? Хоть бы и на этот раз у него нашлась какая-нибудь причина, и он не приехал.

«Хоть бы не приехал... Хоть бы не приехал...» — повторял я два последующих дня.

И отец не приехал.

Года через три, когда я приехал домой в новом, коричневом, сшитом по моде, костюме, отец тронул рукав пальцами.

— Хорошая материя. И во сколько он тебе обошелся? Я сказал.

— Хороший костюм. А ну, повернись... Хороший. Прямо как барин ты в нем.— Ухмыльнулся лукаво, сел, забросил ногу на ногу.— Ну, а к директору ты тогда ходил?

Я не сразу понял, о чем он.

— К какому директору?

— Техникума. Насчет шевьётовых штанов. Помнишь? Мне сделалось и неловко, и смешно.

— Не говори, сын. Я и так все знаю.

— Откуда?

— Наперед знал. Правда, дня два шибко беспокоился. Я улыбнулся недоверчиво.

— Ага.— И несколько помедлив, стал рассказывать: — Это в одном селе, еще кто знает когда, жил-был мудрый человек. Что скажет — все верно, посоветует — не ошибется. И шел к нему народ — кто с чем. Раз приходит молодой человек, как ты вот: «Придумай,— говорит,— кару моему врагу. Да позлее. А я сделаю, как ты велишь». «А как он сделался врагом твоим?» — спрашивает мудрец. Молодой человек рассказал: «У меня мыши и так хлеб едят, а сосед мне в насмешку еще и ежа подбросил. Хотел я его поймать, да только укололся, а он — под амбар». Мудрец задумался. Крепко задумался. А потом и говорит: «Шибко трудное дело. Очень даже непростое. Приходи-ка через недельку, покумекать мне надо». На том они и расстались.

— И не пришел больше тот парень,— подсказал я.

— Почему это? Явился. Как и велено было — через неделю. Явился и говорит: «Придумай, как мне хорошего

человека отблагодарить. Как велишь, так и сделаю». «А за что ты его отблагодарить хочешь?» Молодой человек рассказал: «Мыши у меня хлеб ели. Добрый сосед ежика подбросил. Ежик мышей съел, и хлебушек цел». Вот так, сын. А у тебя? Тоже так было?

— Почти,— засмеялся я.

— Я же говорю: все наперед знал. Обида, как вино, разум застит. Вот я два-то дня и беспокоился — пока протрезвишься.

МОИМ ДОЧЕРИ И СЫНУ... Пожалуй, так я начну то, что хочу рассказать теперь.

Вы знаете, что у меня был старший брат Александр. Но я его никогда не видел: он не вернулся с фронта, пропал без вести где-то под Харьковом. Знаю его только по портрету в темной дубовой рамке, который висел в нашей горнице. Вы этот портрет видели: теперь он хранится у меня. А еще храню в памяти своей связанный с моим братом случай, который слышал от отца. Вот об этом случае я и расскажу вам. Расскажу, как я слышал...

Было мне лет восемь или девять. Однажды зимним утром я проснулся от стука в дверь, которая тут же с сухим морозным скрипом, будто холст разорвали, отворилась, кто-то переступил порог, и дверь хлопнула — затворилась.

— Здравствуйте.

Это пришла, я узнал по голосу, почтальонка тетя Клава Соломина. Живо приподнялся на локте, откинул на спинку кровати цветастый ситцевый полог. Интересно было узнать, что принесла нам тетя Клава сегодня? Может, наконец письмо от Шуры? Может, он нашелся? Ведь находятся другие. Даже те, на кого приходили похорожки, вдруг объявлялись живыми и невредимыми. А на Шуру нашего ничего не приходило. Он пропал без вести. И я, и мать с отцом каждый день ждали, что Шура придет или пришлет письмо. Шли день за днем, месяц за месяцем, год за годом, но ни самого Шуры, ни письма от него так и не было. А мы все ждали и ждали... Может, сегодня?

Тетя Клава плохо гнуцимся пальцами — видно, очень застыли они у нее — пошарила в тощеватой кирзово-й сумке, достала бумажку, подала отцу. Он сидел возле сундука на маленькой табуреточке и починял упряжь.

— Что это? Повестка вроде?..

— Куда? — встревожилась мать и через плечо отца заглянула в бумажку, но разобрать, конечно, ничего не могла — она была совсем неграмотной.

— В милицию. К следователю, — сказал отец.

— О, господи! — испуганно и тихо воскликнула мать. С просительной робостью посмотрела на тетю Клаву. — Может, это не нам?

— Чего же не нам, когда — нам, — отец вздохнул прерывисто-протяжно. — Садись, Клавдия, погрейся. Морозика-то совсем сдурел... «В качестве свидетеля...» Понятно. По крольчатникам это.

— А я уж думала, беда какая, — приободрилась мать и отошла к плите, на которой жарилась, весело шипя, картошка.

— Достукались Мишка с Васькой. Теперь, поди, засудят, — тетя Клава опустила на лавку, поколотила валенок о валенок — ноги у нее тоже застыли.

— А то чего ж. Засудят. За такие дела по головке не гладят. — Отец положил повестку на стол.

Я понял, о чем шла речь.

В конце ноября взрослые парни Мишка Дерябин и Васька Нечаев залезли поздно вечером в стайку к райпотребсоюзовскому шоферу Станиславу Бобровскому и украли четыре пары кроликов. Тоже разводиться надумали. Станислав вышел на улицу то ли до ветра, то ли еще зачем и заметил от стайки к калитке следы. В тот вечер шел легкий снежок, а к ночи стих на беду воров. Станислав взял спички и пошел по следам. Возле нашего дома спички кончились. Бобровский постучался к нам и, объяснив, в чем дело, попросил отца прихватить спичек и пойти вместе с ним.

Следы привели к дому Нечаевых. Побарабанили в сенную дверь. Вышла Нечаиха, мать Васьки.

— Кто там?

— Не чужие. Василий дома?

Нечаиха замялась, потом сказала:

— Нету. Гуляет где-то.

— Все равно открывай.

Деваться некуда. Нечаиха впустила неожиданных гостей в дом. На кровати лежали Васька и Мишка.

— Спице, хлопцы?

— Угу,— враз ответили парни.

— А что же одетые-то? Прямо в пиджаках? Чудно! И мешки за печкой шевелятся. Чудной какой-то дом...

Нечаиха — в слезы. Давай ублажать Бобровского. Мол, по молодости, по глупости парни созорничали. Накинулась на Ваську с Мишкой с запоздалой бранью. Потом опять принялась упрашивать Станислава простить «дураков». Бобровский забрал своих кроликов, и они с отцом ушли.

А на другой день Ваську с Мишкой арестовали.

— Как жить-то станет Нечаиха, если Ваську засудят. Хворая она — жалостливо сказала тетя Клава.

— Как миленьких засудят, Клавдия,— с каким-то безразличием произнес отец.

— Васька-то парень ничего. Это Дерябин, окаянный, Мишка, подбил его.

— Теперь что рассуждать.

— Нечаиху, говорю, жалко,— грустно покачала головой тетя Клава.

— Что ж, что жалко,— с тем же безразличием произнес отец, прокалывая шилом ремень уздечки.

— Убиваться станет. Мать же...

— Не мать она ему, Клавдия,— отец резко проткнул иглу в проколотую шилом дырку.

— Как же не мать-то?! Как не мать! — обиделась за Нечаиху тетя Клава.— Зачем, Федор Петрович, так говорите... Ваську посадят — ладно, заслужил он. А старуха-

то за что будет маяться? Она ж не помогала ему, не посылала за кроликами.

Отец ничего не сказал. Прошивал уздечку.

— Мишка и взбаламутил Ваську, повел его на поводке. Дерябины, те вся порода воровская и других втягивают...

— Ты, Клавдия, помнишь, как мы в тридцать третьем по осени приехали сюда? — зачем-то спросил отец.

— Как не помнить. Помню. В землянке жили.

— А землянка меньше бани. А нас шесть душ. Ни поисть, ни надеть, ни обувь — ничего не было.

— Знаю. Как же.

— Не все ты знаешь, — отец обернулся в мою сторону. — Проснулся, сынок?

— Тогда все плохо жили. Голодное время было.

— Так вот послушай, — отец снова мельком взглянул на меня, будто тоже приглашал послушать то, что он сейчас будет рассказывать. — По осени мы сюда приехали. Сами и ребятишки, кто постарше, пошли в колхоз картошку копать. Урожай, слава богу, хороший был. Картошкой нам и заплатили. Запаслись картошкой — до весны как-нибудь дотянем. Потом я и Шурка, ему уже лет четырнадцать было, в больницу устроились. Я плотничал, столярничал, печи перекладывал. Шурка воду возил. А вечером в школу ходил. Аж туда, через бор. Далеко. Домой уж к ночи приходил. Раз, в конце октября, такой день стоял, так тепло было, покойно. А вечером как задует холодом, как зашумят сосны. Дождь полил, а потом и в снег перешел. Прямо настоящая зима началась. А Шурка в школу отправился в пинжачке, в ботинешках на босу ногу, без шапки. Застудится в такую непогодь парнишка и сляжет. Сидим мы с матерью возле стола, ждем, прислушиваемся. Ребятишки тоже не спят, тоже Шурку ждут. А на дворе такая буря, такая буря. Будто сатана свадьбу справляет...

— Пап, я тоже не спал? — спросил я.

— Ты? Тебя, сынок, еще не было тогда. Не родился... Зашуршало в сенях — мать к двери. Пришел наш Шурка. Ну, слава богу. А растрепанный, мокрый, холодный — смотреть жалко. Страшно смотреть, Клавдия... Мать за-суетилась кормить. Достала чугунок из печи, вывалила в чашку картошку, кусочек хлеба отрезала.

— Садись, сынок, ешь — да скорей на печку греться.

А Шурка, не пойму чего-то, мнетя возле порога и смотрит боязно то на меня, то на мать.

— Ты чего, — говорю, — садись, сынок, ешь.

— Мам, — позвал Шурка несмело, — я вот сейчас шел и нашел халат. Сшей мне из него рубашку к Седьмому ноября, — вынул из-за пазухи белое и протянул матери.

Та уже принять хотела, а я говорю:

— погоди. — И спрашиваю Шурку: — А где ты его, сынок, в каком хорошем месте нашел?

— Возле клуба. Он в канаве валялся. Я поднял.

— Так, так... А напротив, — спрашиваю, — клуба кто живет? Ты знаешь?

— Васса Васильевна Ткачева, — отвечает.

— Верно. А работает где она?

— В больнице.

— Прачкой-надомницей. Так?

— Угу.

— Так чего ж говоришь, что нашел халат?

— Нашел, папа! Честное слово, нашел! Он в канаве валялся. Ей богу...

— Не божись, сын. Лишнее это. Верю: в канаве ты его поднял. Только не туда принес.

— А куда надо? Мама мне рубашку сошьет или Мане платье.

— Нет, сын, не будет ни тебе рубашки, ни Мане платья. Ступай и отнеси халат туда, где ему положено быть.

— Так никто же, пап, не видел, как я его подобрал.

— Ну так и что ж, что никто не видел? Все равно халат-то не наш, чужой. Ступай, неси.

Опустил Шурка голову, молчит.

— Ты слышал, что тебе сказано?

— Я, папа, отнесу, только завтра. Сейчас холодно.

— Знаю, что холодно. Но завтра, Шура, будет поздно уже. Неси сейчас.

— В бору страшно. Я боюсь.

— Но когда ты сюда шел, ты же не боялся.

Шурка ничего не сказал. Заплакал.

Вот тут мать и налетела на меня дроздихой.

— Парнишка замерз, вон аж посинел, а ты гонишь его! Утром отнесет! — И тоже в слезы.

— Не утром, а сейчас же!

— Пусть хоть поест...

— Придет — тогда и поест. Ступай.

— Не сердце у тебя, а камень! Какой ты отец! Дитя родное сгубить хочешь!

— Ступай, сын.— И дверь ему отворил.

— Отец! Слышишь!?

Слышу. Я все слышу. Да только никого не слушаю... И себя тоже. Пошел Шурка...

Отец умолк. В одной руке он держал большую иглу, пальцами другой распутывал свившуюся восьмерками дратву... Я смотрел, как он это делает, а у самого сердце сжималось от жалости к брату. Я думал: «Эх, Шура, Шура, догадался бы ты... До Теша-то шагов сорок. Халат в воду — и поплывет он. А сам пережди, сколько надо, в затишке под навесом и заходи в избу».

Но нет, отца не проведешь. Не такой уж простак он был, ваш дедушка.

— Пошел Шурка, а я ему вслед и говорю: «Завтра я, сын, у Вассы Васильевны спрошу, все ли халаты у нее целы. Не унесло ли ветром».

Ушел Шурка. А на дворе — вой, свист. Землянка наша аж постанывает да поскривывает, бедная. Еще пуще разгулялась непогода. Мать села на сундук у порога и плачет. Голосит прямо. Меня на чем свет поносит. Ребятишки

на печи тоже ревут. А я сижу у стола, гляжу на картошку в мундирах, что мать для Шурки поставила, и тоже... Тоже чуть не плачу. Думаю: вот он мосток через речку перешел... коровник минул... в бор зашел. А в бору-то жутко что делается. Не то что парнишке, взрослому человеку страшно там сейчас. Может, не надо было б отправлять, подождать бы до утра?..

Отец склонился над уздечкой, но не шил, а только разглаживал пальцами ремни и о чем-то думал. Задумалась тетя Клава. Мать, прислонившись к печке, печально смотрела на заиндевелое окно. А я лежал в теплой мягкой постели и представлял, как мой брат Шура шел в непогоду по старому бору...

Жутко гудели сосны над головой. Ток... ток... — то здесь, то там падали шишки и сучья. Шура то и дело вздрагивал, озирался по сторонам. А ветер рвал полы пиджака, будто хотел отнять и унести белый больничный халат, который Шура, конечно же, не украл, а нашел в канаве возле клуба. Он шел только туда. А потом пойдет еще обратно через страшный бор, потому что другой дороги домой не было...

Отец, ссутулившись, все тормозил уздечку. Мать, стоя у печи, смахивала покотившуюся по щеке слезу. Тетя Клава смотрела перед собой, притихшая, скорбная. Им, наверное, тоже виделся Шура, идущий в ту осеннюю ночь по бору.

— И казалось мне, Клавдия, так далеко, будто на самый край света отправил я парнишку, — снова заговорил отец. — Болело мое сердце, Клавдия, шибко болело. Ты тоже мать и знаешь, как болит сердце по родным детям. Наверное, думаю, и впрямь сгубил я сына. Не вернется. А на дворе так завывает, так завывает. Кажется, конец света настает. Все — и мы с матерью, и ребяташки — сидим, плачем и ждем. Уже два раза рассвети бы должно, его все нет и нет. — Плечи отца поднялись и опустились от вздоха. — Наверно, думаю, надо идти встречать или ис-

кать. И уже встал я, чтобы собраться, как скрипнула в сенцах дверь. Пришел Шурка. Вот так и хотелось, Клавдия, на колени перед ним упасть, когда глянул на него. Да Шурка ли это мой?!

— Ну, сын,— спрашиваю,— отнес халат?

— Отнес...— И стоит у порога.

— Молодец,— подошел, погладил его по мокрой голове,— вот теперь садись, ешь. Ешь, сынок, и ложись на печку спать. Утром на работу пойдем.

Вот так, Клавдия, за кого хочешь считай меня. Ирод я, супостат, изверг? Она,— отец указал на мать,— так меня и называла, пока Шурка ходил. Может, правильно. Только опять же: а что мне было делать?

— Да-а-а...

Мать положила на стол четыре ложки, принимаясь резать хлеб, сказала мне:

— Умывайся, сейчас завтракать будем.

— Утром поднялся я,— продолжал отец свой рассказ,— разбудил Шурку. Может, думаю, заболел, жар у него. Нет, вроде ничего, бог миловал. Значит, на работу пойдем.

Собрались, сели за стол. И только сели — стук в дверь. Заходит Васса Васильевна.

— Здравствуйте! — И с самого порога затараторила, уж такая тараторка была: — Ой, да Федор Петрович, ой, Родионовна! Да какое же я вам спасибо свое принесла. Шурик-то ваш до чего же парень путный, прямо золотой! Вчера среди ночи стучится к нам. Я открыла. Он говорит: «Тетя Васса Васильевна, я вот в канаве халат нашел, возьмите, ваш, наверное». Ох, да если б, Шуронька, мой, если б детонька, мой,— обняла Шурку за плечи,— а то ведь Чеснокова. Андрея Васильевича. Самого главврача. Страсть, какой строгий он человек. И что было бы со мною, если б халат пропал, не знаю. Беда была б. Такая беда! Спасибо тебе, Шуронька, и вам, родители, спасибо! Другой бы кто поднял бы — и дело с концом, а мне бы —

беда. Спаситель ты мой! — И Шурку в лоб поцеловала... Во как! — Отец засмеялся весело, счастливо и посмотрел на меня.

Я уже сидел на табуретке возле стола и, дожидаясь, когда мать поставит сковороду с картошкой, вертел в руках ложку.

А отец продолжал:

— Выговорились, отстрекотала, отспасибкала Васса Васильевна, раскрыла сумку, достала рубашку, старенькую уже. Новая-то она, похоже, голубенькая была, а теперь уже вылиняла, белой сделалась.

— Мой, — говорит, — Генаша уже вырос из нее, в армии служит. Ну-ка, Шуронька, донашивай ее ты. Это тебе мой гостинец, благодарность моя.

И сует ему рубашку. А он не смеет взять, смотрит то на меня, то на мать.

— Бери, — говорю, — раз заслужил, сынок, значит, бери, не отказывайся.

Взял. Спасибо сказал. А Васса Васильевна еще и носки шерстяные вязаные достала.

— И это, — говорит, — тебе. Зима ведь идет.

— Вот так. — И отец снова посмотрел на меня добрыми веселыми глазами. И мне сделалось радостно и от этого хорошего взгляда отца, и от того, что все так хорошо кончилось.

А отец продолжал:

— Ребятишки — я и не видел, как, — проснулись, смотрят с печки, все аж светятся — рады за Шурку. И мать рада. И я, Клавдия, рад. Всем хорошо, все рады.

— Спасибо, — говорю, — и тебе, Васса Васильевна, садись с нами за стол, поешь, чайку попей.

— Есть-то, — говорит, я уже ела. А от чайку не откажусь, — и села рядом с Шуркой.

— И тогда, сынок, — отец обратился ко мне, лицо его вдруг посуровело, сделалось жестким, веселье потухло в глазах, но все равно они были добрыми, — и тогда я ска-

зал своим детям: «Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом — вот только то и есть ваше. Если что иначе добудете — знайте: все то проклято. Чужой хлеб не насыщает. Чужая рубашка не греет. Чужое счастье бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут. Дети ваших детей скажут своим детям, а те — своим. И так пойдет до самого скончания рода человеческого. Меня этому учил мой отец, отца — его отец... Так идет с самого начала рода людского. По-другому не было и не будет...»

Отец умолк. В избе сделалось тихо. Только одни настенные часы-ходики стучали: тик-так, тик-так... Однообразно и мерно они отсчитывали время, которому нет ни начала, ни конца. Тик-так, тик-так, тик-так...

— Вот и все.— Отец бросил на сундук уздечку, поднялся.— Ну, Клавдия, отогрелась? Раздевайся, завтракать будем.

— Я уж завтракала.

— Может, кто и видел, а мы — нет. Раздевайся. Успеешь, разнесешь свою сумку. Если кому радость в ней — радость и получит. А кому горе, так, может, оно и лучше, если чуток поздней. Позавтракаем, да и я пойду к следователю.

— А что ты ему показывать-то станешь? — спросила мать.

— Что знаю, то и покажу, лишнего не наговорю...

Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом — вот только то и есть ваше. А если что иначе добудете — знайте: все то проклято. Чужой хлеб — не насыщает. Чужая рубашка — не греет. Чужое счастье — бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут, а дети ваших де-

тей скажут своим детям, а те — своим. И так пойдет до самого окончания рода человеческого. Меня этому учил мой отец, а отца — его отец... Так идет с самого начала рода людского. По-другому не было и не будет...

Эти слова отца я помню всегда. Может, не всегда я в жизни своей следовал родительскому завету, в чем-то грешил против его простой истины, но я знаю, что сделал бы в жизни гораздо больше дурного, если бы не помнил слов отца...

Глава 5

НЕКТО ВО МНОЖЕСТВЕ ЛИЦ

Я ПРИЕХАЛ в чужой мне большой город, где жил мой давнишний приятель, с которым не виделся лет, наверное двенадцать. Признаться, я и согласился-то на эту командировку ради встречи с Алексеем — так зовут моего приятеля.

В доме — заметил это сразу — меня ждали, были рады мне. Несколько рассуетившись, Алексей представил меня своей просто и добро улыбающейся жене, легонько подтолкнул ко мне застенчивого — должно быть, в отца пошел — пятилетнего сынишку: «Скажи, как тебя зовут и дай дяде руку», провел по «хоромам» — обычной трехкомнатной квартире, — «долго ждали, но довольны, и район хороший, тихий», — после чего я был усажен за уже накрытый — без манерничанья, но от души — стол...

Тосты, разговоры, воспоминания, шутки, уют, спешить некуда... Когда людям хорошо, время ускоряет свой бег. Было уже близко к полуночи, когда Алексей сказал:

— А мое хобби все то же — камни. С десяток любопытных есть. Показал бы сейчас, но лучше при дневном свете. Приходи завтра.

Последние слова как-то удивили меня, но я решил, что недопонял друга.

Поговорили еще немного.

— Только ты постарайся пораньше. Чтобы в одиннадцать был как штык. Мать нам пельмени обещает.

На этот раз и самый непонятливый понял бы. Я суетливо, испытывая неловкость, засобирался.

— Ты в какой гостинице устроился? — любопытствовал Алексей, подавая мне пальто.

— В... как ее... в «Центральной».

— Такой у нас, — Алексей вопросительно посмотрел на жену, — кажется, нет.

— Я в том смысле, что она находится в самом центре.

— А, в «Уюте»! По Октябрьской. Возле стадиона.

— Да, да...

— Наша лучшая гостиница. Оправдывает свое название... Так чтоб в одиннадцать — как штык! Ну, будь...

Мне повезло: только вышел на улицу — в белой снежной кисее мерцнул зеленый огонек.

— Куда? — спросил водитель.

— На вокзал.

К счастью, в зале ожидания народу было совсем немного, я отыскал свободный диван, преодолев смущение, подложил под голову портфель и устроился на ночлег. Но, к несчастью, мимо проходил милиционер, поднял меня и потребовал документы. Наверное, ему захотелось какого-то разнообразия в скучной службе, а может, он обрадовался случаю проявить власть: такие вот молодые любят это. Паспорт мой не вызвал в блюстителе порядка никаких подозрений, и он сказал лишь:

— На диванах лежать нельзя, — и удалился походкой, говорящей о том, что скоро явится сюда вновь.

Хорошо все-таки, прямо замечательно, когда в чужом незнакомом городе есть у тебя давнишний приятель, который может... растолковать, где находится лучшая гостиница. В два часа ночи я довольно легко отыскал «Уют». Возле администраторского окошечка сделал какой только мог несчастный и просительный вид, и надо мной сжалились — дали раскладушку.

Если вы уже успели подумать, что я обиделся на Алексея, то ошиблись. Обычай... А на обычаи чужого, незнакомого вам города (а может быть, другого времени?) обижаться — глупо. Что ж, что они отличаются от обычаев вашего родного села, дома (а может быть, вашего времени?), на которых вы воспитаны с малых лет и которым верны по сей день...

Когда я вспоминаю свое детство, мне кажется, что семья наша состояла не из трех человек, — отец, мать да я, — а жил с нами еще и *некто во множестве самых разных лиц*. Я уже говорил, что когда отец работал в «утиле», конторой его был наш дом. Он же был и заезжим домом. Не только для сотоварищей-утильщиков, но и для множества приятелей, знакомых, а зачастую и совсем незнакомых, просто постучавшихся в ночи людей. Я до того привык к ночевальщикам, что, если, бывало, наступал вечер, а к нам никто не приходил, не приезжал, мне становилось тоскливо в родном доме, я то и дело прилеплялся к оконному стеклу, выглядывал на пустынную, тоже казавшуюся скучной, дорогу.

— Пап, ну хоть кто-нибудь сегодня у нас будет ночевать?

— Замолчи! — цикала на меня мать. — И так уже житья нет от этих ночевальщиков.

Не слыша — или, скорее, не слушая материнских слов, отец говорил:

— Кого-нибудь бог пошлет.

Я ждал, ждал, но так никого и не дождавшись, засыпал.

Просыпался оттого, что мать вытаскивала из-под моей головы подушку и подкладывала фуфайку. Открывал глаза — в сумрачной кухне на лавке сидит человек... Еще не разглядев, кто это, я испытывал чувство радости: значит, отец еще долго не задует керосиновую лампу, будет чаепитие, начнутся разговоры, запахнет табачным дымом...

КОНОКРАДСКОЕ ВЕДРО. После войны в нашем селе много говорили о бродягах и рассказывали случаи один страшнее другого. Кого-то обворовали, все подчистую унесли; у кого-то корову из стайки увели, а хвост зачем-то отрезали, свили кольцом у ворот и в середину куриное яйцо положили; кого-то в бору раздели, за ноги к суку подвесили; в соседнем селе всю семью вырезали...

Было лето. Мои и Петькины родители уехали на покос. Входную дверь в хату замкнули, нас оставили в сенках — вдруг дождь пойдет. Наказали нам строго-настрого: от двора — ни шагу, а то бродяги...

Бродяг мы с Петькой никогда не видели и потому не боялись их. Нарвали на грядках огурцов, забрались на кровать, специально для нас в сени выставленную, хрумкали огурцами, балагурили. Потом нам сделалось скучно.

Пойдем порыбалим,— предложил Петька.

— Велели ж — никуда.

— Да кто узнает-то?

— А вдруг — бродяги.

Петька задумался, поскреб пятерней живот.

— А мы, знаешь, как?.. Пошли к воротцам — покажу.

Петька поднял с земли соломинку, переломил ее и хомутиком примостил на крючке.

— Если придем и ее не будет, значит, кто-то приходил, если так и останется — никого не было. Понял?

— Понял. Ну, бери удочки.

Когда вернулись с Теша с тремя пескарями — соломинка была на месте.

— Я ж тебе говорил. Айда на гору клубники поедим...

Пришли с горы — соломинка висела как висела. Надо же! Такая простая и такая надежная Петькина придумка.

И в следующие дни мы занимались, чем хотели, время от времени прибегая домой, чтобы проверить соломинку. Она всегда оказывалась на месте и тем самым как бы поощряла нас и дальше нарушать родительский наказ: от двора — ни шагу.

Но однажды под вечер, накупавшись до гусиной кожи и посинения, прибежали с Теша и не только соломинки не обнаружили, но нашли сам крючок откинутым, а сенная дверь, которую мы подпирали метлой, была чуть приоткрытой.

Мы в страхе переглянулись. Заходить во двор не решились.

— Что теперь будем делать? — спросил я шепотом.

Петька, может, что-то и ответил бы, но не успел. Сенная дверь тоненько закрипела и приоткрылась пошире. Мы уже приготовились закричать «мама» и дать деру, но тут показалась в проеме двери хорошо знакомая нам рыжая шапка деда Волосникова.

— Вот они, молодцы, возъявились! — принялся журить нас дед. — Это вы так-то домоседничаете? Вам что наказывали? А?.. Неслухи! У них все беганьки на уме, все беганьки. А тут вон по улице вору ездют. Не видели?

— Какие вору?

— Знамо дело, нехорошие. Какие же еще. На телеге — два мужика и баба. Поезживают да на избы поглядывают. Не иначе конокрады, самый хитрый воровской народ. У меня глаз острый, за свою жисть разных людей пересмотрел... Так чего ж, спрашиваю, дом бросаете?.. Посапываете?.. Ну ладно, хлопцы, дело молодое. Вовка, ну-к, слазь-ка на горище...

Я мигом слазал на чердак, протянул деду несколько табачных листов.

— Да куды столь-то?! Мне и надоть-то всего понюшку. Вот захотелось — спасу нет. Приволокся — никого. Хотел сам полезть, да, думаю, свалюсь еще, с лестницы-то, расшибусь.

Сделав ладонь гнездышком и положив в нее несколько табачных лоскутков, дед тщательно и долго растирал их большим пальцем, когда убедился, что на ладони пыль, отправил маленькую, не как мой отец, щепоточку в одну ноздрю, потом в другую и застыл, будто прислушивался к

чему-то в самом себе, приоткрыв беззубый рот. Потом судорожно затряс головой, рот стал открываться шире, шире...

— Ха... хап... хап-чи! Ой, хорош, сатана! Вы, хлопцы, подрастете, дак не курите. Нюхать привыкайте: чаду никакого, а шшыкочет. И на зренье... а... хап-чи! До самого нутра продирает, сатана!.. На зренье влият, отец твой сказывает.

Сунул табачные листы в карман фуфайки, поднялся.

— Вишь ли, ночевать они просятся.

— Кто?

— Да эти-то, конокрады которые. И ко мне просились. Но я их вижу, глаз у меня острый. Всех уж обежал, упретил; караультесь, говорю. Подъедут к вам, так вы скажите, мол, без отца-матери ничего не знаем. Ну, пойду, домоседничайте.

— Страшает, никто, поди, и не ездит по улице,— сказал Петька, правда, кислотовато.— Что-то долго наши не едут,— стал на койку, выглянул в оконце, выходящее на дорогу, ведущую в поле, и тут же отшатнулся: — Конокрады!

— Где?!

— За вашим огородом.

— Не ври,— по моему телу побежали мурашки.

— Чес слово! — прошептал Петька.— Глянь.

Перебарывая страх, я одним глазом выглянул в оконце и увидел: в конце нашего огорода стояла подвода. На телеге сидел мужчина в синей одежде и женщина, на прясле, тоже в синем, еще один мужчина. Тот, что на телеге, показал рукой на наш дом, который на прясле, обернулся в мою сторону. Я присел.

— Ну? — спросил Петька.

— Ага. Что теперь делать будем? Побежали к деду.

Петька не ответил. Он снова прильнул к оконцу и закричал:

— Едут!

— Сюда?

— Наши, говорю, едут! Вон уже с горы спускаются! Мы стремглав побежали встречать наших.

Отец, как всегда, остановил коня, мы забрались на телегу, и я приник к уху отца:

— Пап, вон за нашим огородом воры стоят. Конокрады. Будут проситься ночевать — ты их не пускай.

— Конокрады? Кто тебе сказал?

— Дед Волосников. Их никто не пускает — боятся.

А тем временем конокрадская повозка выехала на дорогу и остановилась возле самых наших ворот. Один мужчина, тот самый, что сидел на прясле, пошел нам навстречу. Хотя я уже никого и ничего не боялся, но все-таки спрятался за спину отца.

— Кто ел кашу, а кто щи, здравствуйте, товарищи! — сказал конокрад, «что сидел на прясле».

— Доброго и тебе здоровья, добрый человек, — сказал отец, натягивая вожжи.

— Нас трое — и все хорошие. Не откажи, хозяин, пусти переночевать. Может, завтра спасибо скажем.

— Таким веселым и захочешь, не откажешь, — засмеялся отец.

«Конокрады» оказались рабочими с какой-то новокузнецкой шахты. Ехали они на Алтай покупать — а не воровать, дед Волосников как с ним часто случалось, напутал — лошадей. Ужинали мы все вместе, и тот, «что сидел на прясле» — звали его Васей — балагурил, шутил без умолку.

— Прадед у меня чумаком был. В Крым хлеб возил, а из Крыма соль да рыбу. Остановится возле какой-нибудь хаты, крикнет: «Тетка!» Та выйдет: «Шо?» — «Тетка, вынэсы напыцца, бо так йисты хочетца, шо нэма дэ пэрэночуваты». И — все в порядке. Я весь в него...

— Так ты хохол? А у меня Родионовна хохлушка.

— Вот видишь! На всем жизненном пути одни хохлы мне встречаются. Отец — хохол, мать — хохлушка, в по-

селке нашем шахтерском одни хохлы были. В начале войны отца, как шахтера, в Кузбасс эвакуировали. Само собой, нас — с ним. Ну, думаю, хоть теперь от хохлов отдохну. Куда там, их и здесь полно. Надеялся, в армии-то уж без них обойдется. Нет! Повар — хохол. Тезка мой — Васыль. Лавровый лист получал, а в борщ не кидал. Солдаты с жалобой к командиру: мол, так и так — обижают. Командир призывает Васыля: мол, так и так — обиду имеют, почему лаврушку не кладешь? А Васыль ему от всего чистого сердца: «Товарыш командыр, та воны ж його нэ едят. А шче ропшчуть...» Не-е, с хохлами не заскучаешь: веселый народ!

— К Сибири-то привык? — спросил отец.

— Жить можно. Только зима длинноватая. Но что делать — видно, годы не те.

— Это как? — не понял отец.

— Это когда я маленький был, вот с Вовку, мне моя бабка, как солнце к весне повернет, говорила: иди, мол, посмотри, какие сосульки, короткие или длинные. Если короткие, то весна ранней будет. Я выйду, посмотрю и, какие есть, все сосульки собью. Через неделю — весна-красна, сады цветут. Это только в детстве получается. Ты, Вовка, не сбиваешь сосульки?.. А ты попробуй. Только не забудь.

Я не забыл. Следующей весной только и делал, что сосульки сбивал, но... Может, что не так делал?..

Наутро после завтрака девушка-«конокрадка» убирала со стола, подметала пол, мужчины тем временем запрягли лошадь. Перед тем как распрощаться, Вася протянул матери плату за ночлег и харчевание. Мать отстранилась от Васи и призывающе взглянула на отца.

— Не надо, — сказал тот.

— Если кому я должен, Петрович, мне черт снится. Под самую пасху.

— А у меня, Василий, не заезжий двор.

— За добро добром платят.

— А суешь деньги,— засмеялся отец.— Вот когда я к тебе в гости приеду, тогда и отплатишь, а нет, так на том свете угольками расквитаешься.

— Тогда, Петрович, как я вчера обещал: спасибо вам от всех нас.

— Вот это другое дело. Будете назад ехать — милости просим опять.

Отец открыл ворота:

— С богом.

— Но!— дернул вожжи Вася и уже на ходу спросил:— Ты, Петрович, какую кашу больше всего любишь?

— Пшеничную.

— Вот и ешь ее на здоровье.

— Ел бы, да пшена нет.

— Есть, есть.

— Чего? — не понял отец.

— Будь, говорю, здоров. А ведро-то сохрани...

Отец пожал плечами — не понял последней шутки Васи-балагура, вернее, не понял, шутка это была или что другое.

Все прояснилось через какие-то минуты, когда отец зашел под навес за сбруей Воронка. Возле дуги, прикрытое рогожей, стояло почти полное ведро пшена.

— Ну Василий! И когда успел?! Ой, дошлый, холера,— беда! Вот тебе, сын, и конокрады...

Мы копали картошку, когда они подъехали к нашему двору с целым табуном — наверное, около двадцати — лошадей. Отец приветствовал Васю и его товарищей как старых добрых друзей.

Вася, как и в прошлый раз, сыпал шутками-прибаутками, рассказывал про Алтай, про покупку лошадей. Между прочим, спросил:

— А ведро-то, Петрович, цело?

— Цело, цело твое ведро.

Они оба засмеялись, Вася сказал:

— Не мое, казенное.

И Вася опять пустился рассказывать об алтайских приключениях.

Наутро они уехали. За словами прощания и отец, и Вася забыли про ведро.

— Может, еще приедет когда Василий,— все мечтал отец.— Веселый парень!

Вася у нас больше не был. И, естественно, ведро перешло в нашу собственность. Видно, сработанное каким-нибудь кустарем-надомником, оно было единственное в своем роде, во всяком случае, в нашем селе я таких не видел: цилиндрическое, высокое, алюминиевое. Оно было очень легкое, и мать любила ходить с ним в стойло доить в обед Жданку. Ведро это мы так и называли — конокрадское.

— Сходи с конокрадским ведром на родник,— говорил мне отец.— Или:

— Такой коровы, как наша Жданка, во всем районе нет. Летом, в самый напор дает полное конокрадское ведро молока...

Кто-нибудь, бывало, интересовался:

— А почему ведро — конокрадское?

— А это пусть он расскажет,— показывал отец на меня, смеялся и начинал рассказывать то, что я уже рассказал...

В БЕСОВСКОМ ВИХРЕ. Михаил Самарин был заготовителем утиля в горняцком поселке Темиртау. Молодой, гибкий, с быстрыми сверкающими глазами враля и фантазера, он входил к нам, впустив вперед себя какой-то бесовский вихрь. И от этого вихря в доме все смещалось, приходило в движение.

— Петрович! Родионовна! Вовка! — кричал, раскинув руки так, будто хотел всех нас сгрести и стиснуть в объятии.— Ах, забодай же вас комар, соскучился я по вас!..

— Как конь по кнуту? — с намекающей ухмылкой обронял отец.

Михаил бросал на отца недовольно-укоряющий взгляд.

— Родионова, чайку! — И по-семейному, безо всяких церемоний, подсаживался к столу, забрасывал ногу на ногу. — Петрович, слышал?

— Бреши, бреши. Что там? — поощрял отец.

— В Китае — хоть ты и не поверишь, но истинная правда! — мужчина родил! — выдавал Самарин.

— Что ж, китайцы — нация вполне культурная, — замечал отец с серьезностью, за которой пряталась ирония. — Еще где что случилось?

— Американцы открытие сделали! — порывисто выпаливал Михаил.

— Да не ори — оглушишь. Ну и что?

— На Луне — не поверишь ведь! — рай обнаружили!

— Американцы могут. Нация — вполне ученая.

— Так что теперь началось у них! — Самарин потирал руки и ерзал на табуретке.

— Что такое?

— Сплошные — но ты ж не поверишь! — самоубийства. Все торопятся местечко получше в этом раю захватить.

— Смотри, тоже не вздумай. Сначала металлолом отгрузи.

Это был уж не намек, а почти прямая попытка отца перейти к деловому разговору, что всегда было не по душе Самарину, еще не насладившемуся своим враньем. Он хлопал себя по лбу ладонью.

— Да! Забыл! Что у нас в Темире-то! Не поверишь, Петрович!

— Когда я тебе не верил?

— А я когда-нибудь врал?! — Говоря такие слова, Самарин рисковал тем, что отец мог уцепиться за них, и Михаилу было бы уже не отвертеться. Он, наверное, понимал это и поспешал с рассказом: — Значит, приняли на рудник одного мужика. Начал работать. Хорошо начал. А потом вдруг стали замечать: постоянно от него пахнет. «Пьешь? — спрашивают, — что ли?» «Вообще, — говорит, — в рот не беру». Вот это, думают, наглец! Несет за версту,

а он отпирается. Потасили на проверку. Определили: пьяный. А он одно твердит — непьющий. Давай его снова проверять. И что ты думаешь? — прищурив глаза, Самарин испытующе смотрел на отца.

— Ну что?

— В жизнь не поверишь! В животе у этого мужика свой, единоличный, спиртзавод оказался. Во чудо природы! Да? Железа в брюхе была, которая все сладкое на спирт перегоняла... Ну вырезали у него это предприятие пищевой промышленности. Трезвый стал...

— Вот видишь. А на языке таких операций не научились еще делать?

— До этого, Петрович, медицина никогда не дойдет, не надейся. Но дело не в этом. Через месяц — веришь, нет — запил тот мужик. По-настоящему.

— Чего это он?

— А с лиха. Баба запилила. Дурачина ты, говорит, простофиля, мешала она тебе? Всегда выпимши ходил. А если б с умом да по-хозяйски, можно было б трубочку какунить приспособить. И пусть бы текла. А статьи за устройство организма нету. Так он — добрый! Нател! Режьте! А ты знаешь, что они ее не присвоили, железу-то? Тюха-матюха! Пилила, пилила и запил мужик. Горькую. А какой бабе пьяница нужен? Выгнала. И покатился мужик под гору. Вся причина в ее жадности. Ишь, размечталась она! *Единоличный спиртзавод хотела она иметь, а вышло, что осталась и без завода, и без мужика. Словом, как та старуха у разбитого корыта...*

— Вот и ты достукаешься, — замечал отец, пусть и не совсем в лад.

— А чего я-то? — Лицо Самарина становилось скучновиноватым, линиялым.

— Металлолом, спрашиваю, когда отгрузишь?! — уже с накалом произносил отец.

— А как?! Как?! — взрывался и Михаил.

И начиналась громкая, бурная перепалка.

Походило, что и отцу, и Самарину она доставляла удовольствие, хотя последний старательно и оттягивал ее начало: наверное, рассказывание разных небылиц все-таки доставляло Михаилу удовольствие гораздо большее.

Вагоны, тара, приказ, управляющий, фактура... В этом я, разумеется, ничего не смыслил, поэтому к жарким препирательствам отца и Самарина был равнодушен, но имел в них свою корысть, и хотелось, чтобы они продолжались как можно дольше. Отец и Михаил кричали, шумели, размахивали руками, а я забирался на перекинутую через колено ногу Михаила и, ухватившись за его бока, — ведь руки Самарину нужны были, чтобы размахивать ими в споре, — держался, а Михаил бережно качал меня. По мере того как иссякала перепалка, Самарин качал меня все с меньшей и меньшей энергией — вот почему хотелось, чтобы спор был подольше.

— ...Ладно, — примирительно говорил отец, — отгрузи пока хоть шестьдесят тонн.

— Запросто! — заверял Михаил и нежно ссаживал меня на пол, трепал мои волосы. — Тебе уже пора на коне ездить. Так и быть, Вовка, пригону в следующий раз коня. Маленького. В Сухаринке такого как раз видел. Ты маленький, и конь у тебя будет маленький.

В обещание его мало верилось, но мечтать о коне мне нравилось. Особенно нравилось, что конь маленький и я маленький.

Самарин опять принимался фантазировать и врать. Но отец уже не обрывал его, не язвил, слушал, правда, с ухмылкой. Время от времени мотал головой, смеялся:

— Прямо беда, какой ты брехун. И уродился же!..

Отец любил Самарина и скучал без него. И вообще он питал симпатию к людям нестандартным, немножко — только немножко! — неправильным. Слишком правильных — не выносил. С такими, считал, разговоры разговаривать, что кашу по тарелке размазывать.

Прежде чем расстаться с Михаилом Самариним, скажу, что лет так через тридцать, в больнице, где я лежал и где было много досуга, один больной, человек немолодой и положительный, рассказывал случай, подобный тому, что рассказывал Самарин: у одного шахтера вырезали железу, которая якобы перегоняла сахар на спирт.

Я подумал: уж не с языка ли Самарина слетела и пошла гулять по свету эта якобы быль-небылица?

ПРАЗДНИК ДУШИ. С веселыми искристыми глазами, весь сияющий, будто под хмельком,—никогда, похвалялся, в рот не брал,—Андрей Иванович Глазырин переступал порог нашего дома, спрашивал:

— Сегодня-то, Петрович, ночевать пустишь?

— Ты не спрашивай, а раздевайся да к столу.

— А чтоб все по-доброму да по-хорошему, вот и испрашиваю.

— Ну, сколько уторговал? — интересовался отец. — Или опять?

Андрей Иванович запрокидывал голову, заливался смехом:

— Опять, Петрович! А то как же. Бе-да!..

— Говорят, мол, на базаре два дурака: один продает, другой покупает. А, оказывается, есть и третий...

— Я, Петрович, я третий дурак! — И опять смеялся смехом несказанно счастливого человека...

Примерно раз в месяц, по субботам, он приходил из Бенжерепа — пятнадцать километров — с мешком первосортных, почти до лакового блеска отполированных топорниц. Переночевав у нас, ни свет ни заря шел на базар торговать.

Цену за свой товар клал, как и все,—три рубля за штуку. Подходил первый покупатель или просто любопытствующий, перебирал поделки, рассматривал со всех сторон, пощелкивал пальцем, «тесал», «колол», вообразив насаженный на топорнице топор...

Андрей Иванович же тем временем неспешно и обстоятельно разъяснял, что его топоричи не то что там... Не из какой-нибудь лесной, избалованной влагой березы, а из крученого, самим чертом верченого комля, степной — изпод Сары-Чумыша тракторист Мишка приволок по его, Андрея Ивановича Глазырина, заказу. Возьмешь — не пожалеешь, не только самого, а и внуков переживет такая вещь. Видя, что, оценивая топориче, покупатель попутно вникает и его словам, Андрей Иванович пускался рассказывать, как он со старухой своей Марией распиливал — сто потов сошло — тот комель, как смекал получше расколоть чурбаки, как сушил заготовки, не на солнышке сушил, а в тенечке, от дождей и туманов оберегал... Оборвав себя, Андрей Иванович любопытствовал:

— Сам-то здешний или?..

— Здешний. А то какой.

— Что-то раньше я тебя не примечал. А я из Бенжерепа. Поди, бывал?

— Счас нет, а раньше часто бывал. У Федюниных останавливался.

— Дак уехали Федюнины-то. На Алтай.

— Знаю. А Карасевы?

— Старики живут. Молодые, ясное дело, разъехались.

— Дядя Митрий как там?..

Уж если нашлись общие знакомые, то разговору быть долгим, и Андрей Иванович спрашивал:

— Самого-то как зовут?

— Гаврилой.

— А я Андрюха. Ванькин сын.

Разговор продолжался. Оказывалось, что в таком-то годе, еще до войны, Гаврила гулял в Бенжерепе на свадьбе, на которой один чужак совсем не пил, а, однако, как, дьявол, отплясывал. И тут выяснялось самое неожиданное,

— Так это ж я! Плясал-то!

— Ты?!

— Ну!

— А не пил?

— Так я же и не пил!

— Хо-о, разъязви тебя! Тогда здорово, что ли!?

— Здорово!..

А тем временем подходил еще один покупатель или любопытствующий, рассматривал топорща, прислушивался к разговору Андрея Ивановича и Гаврилы, сам вставлял словечко, другое, и вот он уже третий компаньон... Подходили другие... Круг ширился, разговор разгорался, набирал силу. Шутки, истории, байки, узнавания, знакомства, восклицания, смех!..

Андрею Ивановичу праздник — лучше не надо! Люди все бывалые, занятные, веселые. Ах, мать честная, хорошо-то как, добро! И, переполненный самых лучших чувств, он дарил этим людям, ставшим уже добрыми друзьями, топорща.

— Прими-ка, братец. Твоих внуков переживет.

Андрею Ивановичу совали деньги, мол, ты ж на базаре, на базаре мил человек, продают, а не раздаривают.

Однако Андрей Иванович обижался, суровел лицом.

Иные же были настойчиво-несговорчивы и насильно запихивали рублевку-другую в карман Андрея Ивановича.

— Не чуди,— говорили,— за так нельзя — без порток останешься...

Одаривал Андрей Иванович своими изделиями и торговцев разным другим товаром, многие из которых были уже давнишними его приятелями, и, конечно же, у всех были дома его топорща.

— Ты, Петро, знай бери, сгодится. Соседу своему пожалуешь. Внуков переживет... Ну, а печь-то как, переложил? Не дымит теперь?.. Ну и добро... А твоя, Арсентий, старуха поправилась? Ты ей крапивку заваривай — первое средство. Моя Мария только крапивкой и спасается...

Когда базар постепенно истаявал, Андрей Иванович, распрощавшись со всеми друзьями-приятелями, шел в бакалейный магазин, а оттуда снова к нам.

— Но зато, Петрович, иззнакомился-а-а. Со всемя! Какого интереса только не наслушался! Народ-то со всего району. Каждый чего-нибудь да расскажет.

— А старуху-то тоже байками кормить будешь?

Андрей Иванович журился. И будто вспоминал вдруг:

— А снова наделаю! Руки не отсохнут,— развязывал тощий мешок, запуская в него обе руки, доставал добрую пригоршню разноцветных пахучих леденцов.— С чайком мы их, Петрович. Вовка, угощайся.

Рано утром, забросив мешок за плечо, он, легкий, поджарый, ровными шажками — в руке батожок — отправлялся в путь, чтобы быть дома, когда у старухи поспеют щи.

Шагая по краю широкого тракта, он то и дело оглядывался: не догоняет ли какая попутная полуторка? Когда замечал за бугром клубы рыжей пыли, останавливался и ждал.

Шофер, поравнявшись с Андреем Ивановичем, затормаживал.

— Садись, дед! — В зубах папираса.

«Дорогие, сатана, курит. А рожа-то. Ишь, какая намухортенная. Этот пятерку слупит и глазом не моргнет».

— А сколько возьмешь-то?

— Ты садись. Пока едем — договоримся. Понравишься — за так до самого Бийска докачу.

Чего это не понравлюсь-то. Да только за так мне не пристало. А этот стребовать не осмелится: хороший человек, сразу ж видно. Сам остановился, я и руку не подымал. За так нельзя — можно обидеть парня.

— Да мне до Бийска-то начто. Мне до Бенжерепа только.

— Садись, вмиг будем в Бенжерепе.

Хороший парень, а хорошему и заплатить хорошо надо. Хотя бы пятерку. Тем паче путь больше на подъем. Да только пятерка — деньги, на дороге ее не подымешь, а нам со старухой три дня хлебом кормиться. А это все од-

но пропьет. Ишь, рожа-то мятая, не охмелился еще со вчерашнего.

— Ладно. Тут недалече уж. Да и растрясешь меня, старика,— раньше дней вознесусь. И чадно. В кабинке-то.

— Чудак ты, дед,— выплевывал папиросу.— Топай, раз нравится,— и включал скорость.

Добрый парень. Зря не сел... Да ладно уж. Путь хоть и не близкий, но привычный. Потихоньку-потихоньку и дома буду. Ехать понятное дело, не идти, ехать — благодать. Да и пятерки на дороге не валяются. Дой-ду-у-у... У старухи как раз щи поспеют. Старуха, конечно, первым делом справится, заранее недобро поджав губы:

— Сколько наторговал-то?

Андрей Иванович молча отдаст ей все, что у него есть. Она скажет с укором:

— Опять роздал?

— Дак теперь все сами делают,— скажет Андрей Иванович и, помедлив, добавит неохотно: — Ну, а кто не умеет, тем роздал. Хорошие люди.

Старуха, конечно, осердится, отвернется от него и щей наливать не подумает.

— И стоило,— скажет,— зазря ноги бить.

— Чего это зазря-то? — Андрей Иванович уже успеет высыпать на стол разноцветные пахучие леденцы.— Глянь-ка. Твои любимые. Ждала, поди. Вот я и принес. Наливай-ка, Мария, себе чаю, а мне — щец...

Отмя-а-акнет. Не впервой!.. А топорищи — что? Топорищ снова наделаю, руки не отсохнут...

Через месяц он снова, оставив мешок с топорищами в сенях, войдет в наш дом.

— Ночевать-то, Петрович, пустишь?— И засмеется, мол, вот явился, душа просит.

— Опять спрашиваешь? Чего долго не идешь?

— Дак, язви их, наделать же сперва надо, с пустым мешком не пойдешь...

ПЛОХО БЫТЬ МАЛЬЧИШКОЙ. Однажды зимним вечером в избу вошел в заиндевелой шапке и пальто отец, а следом за ним через порог перекатился колобок, обмотанный лохмотьями.

— Разболакайся, Лия Исаковна. Будь как дома.

Мать незаметно поманила отца в горницу, спросила:

— Кто это?

— Побирושка. От войны бежит. Из Харькова.

— Куда бежит-то?

— Вот до нас добежала. Поработает пока у меня сортировщицей, а там видно будет.

Лия Исаковна, что вдоль, что поперек, с коротко обрванными седыми волосами, была старушкой подвижной и говорливой, обжилась у нас и... стала меня тиранить.

Несчетное число раз на дню требовала:

— Вовик, покажи мне руки.

Я показывал.

— Ой, гвалт! Гва-а-алт! У мальчиков руки должны быть чистыми. Сейчас же иди мой!

— Они и так чистые.

— Гва-а-алт! — приходила в ужас Лия Исаковна. — Какие же они чистые! Иди мой!

— Не буду!

— Гвалт! Он не слушается! Мальчики должны слушаться старших! — И тащила меня к рукомойнику.

На ночь она заставляла меня таким же образом еще мыть и ноги. А когда я вставал с постели, требовала, чтобы я говорил «доброе утро» отцу, матери и ей. Приучала не оставлять недоеденный кусочек хлеба — «а то гоняться будет», — запрещала залезать на сундук и прыгать с него на пол. Я противился выполнять ее требования, она ужасалась, произносила свое «гвалт!» и напоминала, что я мальчик и потому должен слушаться...

Больше всего в кухонном с застекленными дверцами шкафчике меня соблазняла фарфоровая сахарница. При всяком удобном случае я подтаскивал к шкафчику табу-

ретку, взбирался на нее и в сахарнице оставалось все так же много маленьких, наколотых отцом щипчиками кусочков сахара, но уже на один-два меньше. Лия Исаковна каким-то образом тут же обнаруживала, что в сахарнице стало на один-два кусочка сахара меньше и всплескивала руками:

— Гвалт! Он опять немытыми руками унес кусочек сахара! Мальчик ничего не должен брать без спросу.

— Я не брал.

— Он обманывает! Гвалт! Мальчики не должны обманывать!..

Такими вот своими замечаниями и восклицаниями Лия Исаковна привела меня к мысли, что плохо быть мальчишкой, лучше бы родиться девчонкой, и тогда бы мне все разрешалось и прощалось. Но, как оказалось, это была ошибочная мысль.

Однажды Лия Исаковна шила себе на машинке юбку из крашеного американского мешка и что-то напевала. Момент был самый подходящий. Я подтащил к шкафчику табуретку, забрался на нее, снял с сахарницы крышку и... услышал за спиной:

— Гвалт! Он опять...

Я вздрогнул.

— Вовик, там раки! Я сегодня утром положила в сахарницу раков!

— Нет,— возразил я уверенно.— Я только сейчас брал. И раков не было.— Запустил руку в сахарницу — не зря же я тащил табуретку и взбирался на нее,— взял кусочек сахара и отправил его в рот.

— Гва-а-алт! — протянула до крайности изумленная Лия Исаковна.— Мальчики должны верить старшим!..

— А обманывать мальчиков можно? Раков нет! Гва-а-алт! — сказал я, подражая ей, Лии Исаковне.

Лия Исаковна залилась смехом, но все равно она была немножко смущена моими словами и, мне так показалось, чтобы замять это дело, предложила:

— Вовик, хочешь, я научу тебя шить?

— Нет,— отказался я наотрез.— Я не девчонка.

— Да, да. Жаль, что ты не девочка,— смахнула пальцем слезу.— Если бы ты был девочкой, я бы звала тебя Юлей и научила бы всему, что умею сама.

Я не понимал, почему плачет Лия Исаковна, но мне все равно стало ее жалко. А еще мне стало нравиться, что я мальчишка, а не девчонка, иначе меня звали бы Юлей и учили шить и вязать.

Потом я узнал, почему плакала Лия Исаковна. До войны она жила с сестрой Розой, у которой была дочь Юля, моя ровесница и тоже светловолосая. Когда на Украину пришли немцы, их всех эвакуировали из Харькова. Поезд, в котором они ехали, попал под бомбежку, и Лия Исаковна потеряла сестру и племянницу. От знакомых людей она узнала, что будто Роза стала партизанкой, а Юля живет у дальних родственников на хуторе.

— Вот когда кончится война,— мечтала Лия Исаковна,— мы встретимся и заживем, как раньше. Юля станет хорошей портнихой, я научу ее. Только скорее бы кончилась война.

— Теперь уж скоро,— говорил отец,— бежит немец.

Однажды я проснулся среди ночи. В кухне горела керосиновая лампа. Отец и Лия Исаковна сидели за столом друг против друга, и отец рассказывал про то, как какой-то город окружили враги. Люди стали страдать от голода и болезней и уже хотели сдаться. Но одна женщина поклялась, что спасет всех. Она пробралась в стан врагов, назвалась изменницей своего народа. Ей поверили, привели к предводителю и стали угощать. Когда предводитель и его приближенные напились допьяна и уснули, женщина сняла со стены меч и отрубила голову предводителю. Узнав об этом, враги побежали: на них напал страх. А в честь женщины жители города пели гимны и подносили ей цветы.

Лия Исаковна молча плакала.

— Вот что может одна женщина. А ты говоришь...

Я не знаю, что говорила Лия Исаковна отцу, но почему-то долгое время считал, что та мужественная женщина была не кто иная, как сестра Лии Исаковны партизанка Роза. Гораздо позже, уже взрослым, я узнал, что отец рассказывал в ту ночь легенду о библейской героине Юдифи.

Сейчас я не могу точно сказать, сколько прожила у нас Лия Исаковна. Может, с год или больше. Однажды она вбежала в избу с возгласом:

— Освободили! Освободили! — И бросилась, плача, обнимать мать и отца.

Вскоре она уехала от нас.

Прошло какое-то время, и от Лии Исаковны пришло письмо. Она писала, что живет в небольшом городишке под Харьковом с племянницей Юлией. Сестру Розу замучили гестаповцы. Дальше она благодарила отца и мать за все доброе и звала всех нас в гости, напомнив, что у них там растут хорошие яблоки и груши. А еще в письме была — или отец сам придумал ее — фраза: «Вовик, слушайся папу и маму и чаще мой руки, и ты будешь хорошим мальчиком».

Прочитав письмо, отец сказал:

— Раз зовет, надо съездить...

Но, конечно, это была всего лишь мечта. Я же говорю: в Калтан — полчаса езды на поезде — к Татьяне Федоровне отец собирался по несколько недель, а то и месяцев. А то — в Харьков!..

Больше о Лии Исаковне я ничего не знаю. А что племянница ее Юлия, конечно же, стала хорошей портнихой — это ясно и так.

ЧЕТВЕРТАЯ. Появилась у нас Дуся точно так же, как и Лия Исаковна. Однажды в избу вошел отец, а за ним — она. Как и Лия Исаковна же — в лохмотьях.

— Дуська! — обрадовалась мать. — Нашлась!

— Нашлась,— сурово сказал отец.— Ремня бы хороше-го дать, да взрослая уже—стыдно.

В Новокузнецке у отца был хороший друг Зенков. Сам он погиб на фронте, жена умерла в последний год войны от чахотки. Единственная дочь потерялась. «И куда девка закатилась?» — часто недоумевал отец... И вот она нашлась.

— С кем связалась! Это ж надо! — выговаривал отец.— Вот родители были бы живы да узнали.

— Ладно, дядя. Я же больше не буду,— сказала, словно отмахнулась от отца, Дуся. Она уже разделась, подошла ко мне.— Вовка-а-а. Какой ты большой уже. Помнишь меня?

— Нет,— сказал я.

— А ну-ка, вспомни. С папкой к нам приезжал. Помнишь? — Стала меня тискать.

Я увернулся от нее и забрался на печь, втайне желая, чтобы Дуся стала доставать меня и здесь. Но мать уже налила ей супу и усадила за стол.

Дусю одели во все мешочное, обули и устроили работать приемщицей молока на маслозавод. Придя с работы, она первым делом говорила, что за день соскучилась по мне и начинала тискать и щекотать меня, потом запевала «Катюшу» или «Синий платочек» и принималась мыть посуду, скоблить полы, трясти половики, носить с речки воду, чистить картошку...

— Вот молодец! Вот хозяйка! — нахваливал отец Дусю.— Хоть ты и Зенкова, а проворностью вся в нашу породу.

— Раз в вашу, то, дядь...

— Ну?

— Теть?..

— А?

— Давайте я буду звать вас папой и мамой, а Вовку,— сделала мне «козу рогатую»,—братишкой. Ладно?

— Зови. Чего ж,— согласился отец.

Мать прослезилась и тем самым тоже выразила свое согласие. Я, довольный, разулыбался.

Все переделав в доме, Дуся наряжалась, подводила са- жей брови.

— Куда? — спрашивал отец.

— В клуб, пап. На танцы.

— Опять прыгать, валенки протирать. Да смотри, не- долго!.. Когда приходила Дуся из клуба, я не слышал. Ут- ром она легонько сжимала пальцами мой нос, я просыпал- ся, а Дуся, уже в пальто, отбегала к порогу, озорно пока- зывала мне язык и убегала на работу.

Однажды разбудила меня не Дуся, а строгий голос отца:

— Где ночевала?

— У Клавки Осиповой.

— Узнаю.

— Да что я, пап, обманывать вас буду, что ли? — села на край моей постели, накрыла меня собой. — Ага-а-а, по- пался, который кусался...

Через несколько дней Дуся опять не ночевала дома. А потом и в третий раз.

— Все, — сказал отец. — Вечером никуда ходить боль- ше не будешь.

— Сегодня, пап, концерт.

— Не пойдешь, — твердо повторил отец и обернулся к матери. — Спрячь все ее наряды.

Днем отец куда-то уходил, вернулся хмурый. Потребо- вал от матери чаю, а мне велел пойти погулять.

Я побежал на речку Теш посмотреть, как мутная веш- ная вода подмывает и обрушивает глинистые берега. Ду- ся потихоньку подкралась сзади, обхватила меня руками.

— Ага-а-а, испугался! А я к цыганам хочу убежать. Побежишь со мной?

— Побегу. Только я не хочу, чтобы ты убегала.

— Все равно папа меня выгонит из дому.

— Не выгонит. Мама заступится.

Так оно и было. Когда мы с Дусей вошли в избу, отец ушел в горницу, вытащил из брюк ремень, стал в дверях:

— А ну, иди сюда!

Дуся опустила голову.

— Кому говорят!

— Папа, я больше не буду.

— Слышал уже,—отец шагнул к Дусе, но мать стала на его пути.

— Федор!

Отец ударил сложенным вдвое ремнем по табуретке и сказал непонятное мне:

— Хочешь в подоле принести?!..

Что было дальше — не знаю: отец выпроводил меня «погулять»...

...Радость, что я поймал первого в жизни пескаря, была так велика, что я, бросив на берегу Теша удочку и банку с червями, помчался домой. Вихрем влетел в избу.

— Мам, посмотри!..— и осекся. За столом чинно сидели отец, мать, Дуся, худой и бледнолицый пасечник дядя Миша с Кундельской пасеки и Аркашка, младший брат и помощник дяди Миши. На столе стояла еще недопитая бутылка водки.

— Рыбешку поймал? — поднялась навстречу мне Дуся, глаза ее были красные и влажные, губы припухли. Взяла из моих рук пескаря.— Молодец! — поцеловала меня в щеку.— А меня замуж отдают. Идти?

— За кого?

— За дядю Мишу.

Дядя Миша мне нравился, он всегда угощал меня медом и рассказывал, когда оставался у нас ночевать, страшные истории про медведей. Но если он заберет к себе на пасеку Дусю, то мне будет скучно. Я подумал и сказал:

— Иди, только пусть он к нам переходит.

— А пасека как?

— Пусть сюда перевезет.

Все засмеялись, а Дуся заплакала.

Дядя Миша все-таки увез Дусю на пасеку. И вскоре там была свадьба. Отец с матерью меня взяли с собой. Пришел туда и Генка, племянник дяди Миши. Он жил в другом конце нашего села и был сиротой. Взрослые пили медовуху и пели песни, а мы с Генкой купались в небольшой речушке Кундели и резали русянки и пучки. Чего-то забежав за омшаник, я увидел там Дусю. Она сидела на пеньке и плакала.

— Ты зачем плачешь? — спросил я.

Дуся взяла мою руку, серьезно и грустно посмотрела в мои глаза.

— Жалко, что ты далеко теперь будешь.

— Тогда пойдем домой.

— Нет,— покачала головой Дуся.— Нельзя домой. Дядя Миша как тут будет? Он больной. Только ты не говори папе, ладно?..

У дяди Миши, как и у Дусиной матери, была чахотка. К концу лета он совсем занемог, и его положили в больницу. Вместо него временно прислали на пасеку другого пасечника. Он только что вернулся с фронта и носил военную форму.

Однажды мать снарядила меня и Генку на пасеку. Мы несли Дусе и Аркашке бидон варенца и туюсок сметаны. До пасеки километров восемь. Примерно на середине пути встретили Аркашку, отправившегося по каким-то делам — так он сказал — в село. Аркашка угостил нас кедровыми шишками, и мы разошлись. Отойдя несколько шагов, Аркашка окликнул меня и сказал со злой усмешкой:

— Там новый пасечник твою сестру... охмуряет.

Приблизившись к пасеке, мы с Генкой стали свидетелями такой картины.

Новый пасечник в галифе, исподней рубахе навыпуск и босой тарабанил в дверь пасечниковой избушки и орал:

— Откр-рой! Чего ты ломаешься! Слышь?..

Голос Дуси из избушки ответил:

— Не на ту нарвался.

Новый пасечник метнулся от двери к окну. Чтобы он не заметил нас, мы с Генкой укрылись за кустом черемухи.

— Открой, что-то скажу.

— Отойди — пальну.

— Не дури. Можно ж миром.

— Вот Аркашка придет, он тебе такой мир устроит.

— Ну, курва! — Новый пасечник вырвал из колоды топор и ринулся ломать дверь.

— Ду-ся-а-а! — заорали мы с Генкой.

Новый пасечник воровато швырнул топор в траву возле крылечка. Увидев нас, растерялся, потом через силу улыбнулся.

— Хо, пацаны. А мы тут шутим.

— Хорошие шутки, — открыла дверь Дуся. Она неуклюже, но крепко держала бердану. — Сволочь! — сказала в лицо новому пасечнику. — Паразит! Скотина! Кобель! — выкрикивала она, потом упала ничком на кровать и зашлась в плаче...

Дома мы были уже за полночь. Дуся сказала отцу, что она пришла, чтобы быть рядом с дядей Мишей и ухаживать за ним.

— Да-а, — вздохнул отец. — Плох он, дочка. Совсем плох...

Хоронили дядю Мишу по первому снегу. Умер он на руках Дуси.

Вскоре Дуся уехала в Калтан на строительство Южно-Кузбасской ГРЭС и вышла там замуж за нашего же деревенского парня Леньку Арсеньева. Года через три Ленька ушел от нее, потому что она не могла родить ребенка. Дуся уехала в Новокузнецк и сошлась с вдовцом с двумя малолетними детьми и, кажется, стала счастлива. Нас она не забывала, приезжала, писала письма. Отца, как и раньше, называла папой, мать — мамой, а меня братишкой.

Если вы помните, отец говорил, что во время германской войны ворожил ему под Краковом слепой поляк: детей у тебя будет много, но живых останется только четверо...

— Все правильно: Татьяна Федоровна, Петр Федорович, Вовка и Дуся...

НАШ НЕНАШЕВ. Создавая этого человека, природа, наверное, больше заботилась о его мощи и крепости и совсем забыла о его внешней привлекательности. Если его сравнивать, то с буйволом. Ширококостый, большоголовый, он обладал буйволиной силищей, как буйвол, был угловат и неуклюж, как буйвол, безобидный и смирный.

В гражданскую войну воевал у Буденного. Белополяк был, верно, расторопный — изловчился и рубанул Ненашева саблей по кадыку, — но, должно быть, слабосильный: большая, приплюснутая сверху, как капустный кочан, голова осталась на плечах. Павел Константинович потерял равновесие и грохнулся из седла наземь. Мыча от боли, загреб пятерней мокрого снега, отправил в рот, проглотил, и алые комки вывалились за отворот полушубка.

— Э-э, конец тебе, браток, — сказал спешившийся возле молодой боец.

«Ду-рак!» — возразил мутным взглядом Ненашев, высвободил исподнюю рубаху, оторвал полосу, протянул бойцу...

В молодости, как цыган лошадей, менял жен. От них убежал в Сибирь. Но к ним же и прибежал. Как в угаре, вырывался от одной и тут же попадал в силок, искусно поставленный другой.

Всю Отечественную прошел сапером. Был ранен, контужен. Однако мощи не поубавилось. Руки держали топор крепко. Ходил Павел Константинович по деревням, перекладывал и рубил новые избы, путался с «жеёнщинами». Должно быть, окончательно запутавшись, поздней осенью сорок седьмого с тощей кирзовой сумкой явился в наш дом, усталый и грустный.

— Поживу у вас, Петрович.

— Живи. Не жалко.

Закурив самокрутку, Ненашев долго молчал, сидя на лавке, потом выдохнул:

— Какие, Петрович, все они, женьшины, злые.

— Крепко пьешь? — прямо спросил отец.

— С имя повесишься, а не только что...

— Не пей — сразу помягчают. Верно тебе говорю.

Ненашев только вяло и безнадежно махнул рукой.

— Эх, Павел Константинович! Ты один — три работника, руки у тебя золотые, а нос в навозе.

Временно, до плотницкого сезона, Ненашев устроился в пекарню возчиком. Из Малиновки по реке — километров восемь — возил на лошадях уголь. Вечером приходил домой, раздевался, садился на лавку, сворачивал сигарку и курил, ожидая ужина.

Бывало, спрашивал меня:

— Как, Ова, учитесь?

— Средне, — отвечал я.

— Наверно, задачки трудные задают? А ну-ка, решите одну, легкую: летит сорока, за ней — сорок. Сколько всего? — улыбался, верхняя пухлая губа растягивалась вширь и поднималась постепенно, обнажая еще одну верхнюю губу, такую же пухлую.

Задачку я находил в самом деле очень даже легкой и тут же выпаливал ответ:

— Сорок одна.

— Ну-у, Ова. Такими стаями сороки не летают...

Я разочаровывался, ломал голову, перерешивал задачку так и сяк — все равно получалась большая стая сорок. Видя, что я вот-вот заплачу, Ненашев говорил отгадку и предлагал еще одну «легкую» задачку.

— Шли столбцом: сын с отцом да дед с внуком. Сколько их было?

И все повторялось...

Если работал Ненашев за троих, то и ел он за стольких же. Поэтому мать ставила на стол две сковороды с жареной картошкой или большую миску — точнее, маленький тазик — с толченой, залитой салом, пережаренным с луком.

Мне нравилось наблюдать, как Ненашев ел: без стеснения, но неторопливо, обстоятельно. На стол он не облакачивался, обе руки — в одной ложка, в другой ломоть хлеба — держал на весу. Откусывал хлеба — и тут же поспевала ко рту ложка картошки с такой горой, что рот должен бы был открыться на всю ширь, но Ненашев, создавалось впечатление, и вовсе не открывал его. Нижняя губа выдавалась вперед, на нее, как на порожек, ложилось дно ложки, потом выдавалась вперед верхняя губа, накрывала картошку и, пятась, принимала свое нормальное положение — ложка пуста. Обе руки замерли навесу — Павел Константинович пережевывает пищу, сосредоточенно и так легко, будто во рту у него всего лишь какая-нибудь крошка... Снова откусывал хлеба, и тут же поспевала ложка. Уже с капустой... Просто и красиво. На клеенку он не ронял ни крошечки хлеба или картошки, ни соломинки капусты, ни капельки рассола. Во время еды, как правило, молчал или говорил что-нибудь односложное.

Из-за стола Ненашев выходил первым.

— Спасибо, Родионовна.

— А чай? — напоминал отец.

— Нет, Петрович, это не блюдо, — выпивал ковш ледяной воды, садился на лавку, поближе к порогу, и сворачивал сигарку.

Спал Ненашев только на полу, хотя у нас была и свободная, специально для ночевальщиков, кровать. Подстилал он свой полушубок, фронтальной, с защитного цвета верхом, выдавший разные виды, а укрывался большим отцовым тулупом. Перед тем как залезть под тулуп, аккуратно, стопкой складывал на краешке сундука свою одежду.

— О, учись,— тихонько толкала меня в бок мать.

Шепотом она сообщала отцу в горнице:

— Посмотрела: все зашито, все залатано.

Получалось, что Павел Константинович Ненашев был человеком во всем положительным, и я недоумевал, почему мать с отцом между собой говорили о нем как о человеке непутевом, забубенном, чуть ли даже не конченном.

Но вот однажды чуть свет — Ненашев только-только собрался на работу — к нам в избу вошла незнакомая остроглазая бабенка. С подчеркнутой степенностью поздоровалась, пристроила возле порога сумку, большой пузатый бидон, развязала платок, опустила на плечи и — как-то внезапно грохнулась на колени.

— Па-шень-ка! — взвизгнула и поползла к угрюмо сидящему на лавке Ненашеву. — Вернись, Пашенька, переменюсь я! Истинный бог, переменюсь!

— Пустое это, Лизавета Власовна. Подымитесь, стыдно: хозяйева, мальчик Ова.

— Вернись, Пашенька. Ради Витьки хотя б. В школу, паразит, не хочет ходить. Пусть, говорит, дядя Паша придет. А? Паша?.. Я бражки наварила, погуляешь вволю.

Ненашев сконфуженным взглядом объяснил отцу: вот, мол, какие они женьщины.

— Встаньте, Лизавета Власовна.

— Пашенька, вернись. Как я без тебя теперь! Ужель все? А?.. Ты ж сам душеньку мою всколыхнул, словами своими. Я и впустила тебя в сердце, как и Никиту своего, мужа, не впускала. А ты... Чего взбриндил-то? А?..

Ненашев, насупившись, молчал.

— Ответь, Пашенька... — И к отцу: — Скажите ему, добрый человек.

— Человек, может, я и добрый, да только у Павла Константиновича своя голова на плечах. Вот какая большая.

— Паша...

— Ступайте, Лизавета Власовна, — холодно сказал Ненашев.

Как неожиданно женщина грохнулась на колени, так неожиданно и поднялась. Небрежно смахнула ладонями слезы со щек.

— Значит, не пойдешь? — ее просительный тон переменялся на угрожающий.

— Ступайте...

— Ну погоди, супостат! Вот я на тебя накличу, боров. Так и знай: как мерин холостой сделаешься, свету белого не взвидишь. Заскребе-е-ет, заскребет твою душеньку-то...

— Да ступайте вы...— нервозно сказал Ненашев.

— Попомни мои слова,— подхватила сумку, бидон, потопталась на месте, склонила горестно голову набок, безнадежно: — Хоть одно доброе слово, Паша. Ради Витьки...

Не получив ответа, шваркнула носом и хлопнула дверью. Ненашев неловко закряхтел.

— Проворная бабенка,— сказал отец.

— Очень, Петрович, несамостоятельная женьщина. И грязная, необрядная. Присушу, говорит. Не люблю таких слов... Тоска берет, какая нехорошая женьщина. На парнишке, вишь, спекулирует.

— А раньше-то что, не видел, какая она?

— Пока глянулась — не замечал. А как отворотило...

— Тебя-то уже отворотило, а она только в самый раж вошла.

— Дак вот... А парнишка у нее ничего. Жалко парнишку...

А вечером Ненашев домой не пришел. Наверное, около полуночи в окошко постучала Клавка Осипова.

— Дядя Федя, в бору ваш Ненашев пьяный лежит. Я пробовала его поднять, да никак...

— Во как: «наш Ненашев»,— сердито сказал отец и пошел к вешалке.

Отец и Колька Резуненко, мой двоюродный брат,—по силе под стать самому Ненашеву,—приволокли Павла Константиновича, как говорится, чуть тепленького. Он то и дело варнякал:

— Петрович, Родионовна, извините... Ох, какая она нехорошая женьщина...

Утром, опухший и хмурый, он сидел на лавке и курил, а отец выговаривал ему:

— Не понимаю, как можно напиться, чтобы не помнить себя. А если б не Клавка? Окочурился бы. Был человек — и нету.

— Какой там человек, — вяло возразил Ненашев.

— Золотой человек, да одна беда...

— Беда, Петрович, — согласился Павел Константинович.

— Все сам понимаешь.

— Тоска, Петрович... Вот взяла притопала.

— Как притопала, так и утопала.

— Парнишка хороший... Да и стайку рубить начал...

Ушел Ненашев на работу. Но тот же Колька Резу-ненко видел его в тот день вместе с другими мужиками в чайной. Явился он домой только через день и все пытался затянуть «Ой вы, сени, мои сени...», но, видно, сорвал голос уже раньше, и получалось одно сипенье.

Утром он опять сидел на лавке, мрачно курил, а отец ему выговаривал. Со всем Павел Константинович соглашался, не возражал. Потом поднялся и, не надев полушубка, вышел на улицу. Через какое-то время отец — будто почувствовал недоброе — тоже вышел из избы и вскоре привел Ненашева, бледного и судорожно трясущегося, на щеке его кровоточила царапина, глаза были мутные, блуждающие.

— Накатило, Петрович.

— Вот беда-то, — вздохнул отец. — Не думай ты об них, об шалаболках этих. Вот весна придет, пахать начнем, сеять, потом плотничать подашься.

Ненашев согласно покивал, поднял глаза на мать.

— Вы б, Родионовна, истопили мне баньку...

Ненашев стал прежний Ненашевым: степенным, рассудительным, порой даже веселым. И все-таки пока наступила настоящая весна, он дважды загуливал. Пропадал где-

то по несколько дней, потом являлся хмурый и виноватый и просил мать истопить ему баньку.

А однажды Павел Константинович переступил порог — около полуночи было — и с ревом повалился на лавку.

— Родионовна, Петрович... ни капли. Живот... Кончаюсь...

— Съел чего? — спросил отец. — Или поднял тяжело?

Ненашев через силу, сквозь рев и стон кое-как объяснил: нагрузил в Малиновке угля, мужики из других деревень позвали в избушку есть картошку в мундирах. Съел три штуки — больше не захотелось. Чуть отъехал — началась резь в животе. Чем дальше, тем хуже — ни сидеть, ни лежать, ни идти.

Мать дала выпить Ненашеву соды, какую-то таблетку — не полегчало.

Тогда отец засветил фонарь и пошел за Клавдией Ивановной, которая была у нас и фельдшерницей, и акушеркой, и врачом всех профилей. Как на грех, Клавдия Ивановна чего-то уехала в город. До райбольницы — далеко, тем более Теш уже разлился и идти надо было вкруговую, через мост, смерть к Ненашеву могла придти быстрее. Отец ощупал живот Павла Константиновича и поставил «диагноз»:

— Заворот кишок или так чего, — и велел матери: — Живо грей воду, «кружку» готовь.

Всего этого я не видел и не слышал — спал. Проснулся оттого, что Ненашев вскрикнул:

— Ой, кончаюсь...

Он стоял на четвереньках среди избы с приспущенными кальсонами. Отец, опустившись перед ним на колени, приделывал ему «хвост» из тоненькой резиновой трубки с черным мундштуком на конце, на другом конце «хвоста» был зеленый резиновый карман, его держала мать на уровне груди.

— Кончаюсь, Петрович...

— Я тебе кончусь! Терпи, — велел отец, зачерпнул из кастрюли воды и матери: — Выше подыми...

Был у Павла Константиновича «заворот кишок или так чего», теперь этого никто не подтвердит и не опровергнет, но он остался жив. На другой день лежал на полу на своем полушубке белый как стена и блеклым голосом благодарил:

— Спасибо, Петрович. Спасибо, Родионовна. Век вам этого не забуду...

Когда посеяли в поле просо и гречиху, Ненашев пошел по деревням плотничать. Явился он под осень все с той же своей кирзовой тощей сумкой. Собрали урожай, разделили. Свою часть Павел Константинович решил продать на базаре. Запряг в воскресенье нашего быка Мишку, как-то очень проворно сложил на телегу мешки и тронулся со двора.

— Да смотри же, Павел Константинович.

— Да что вы, Петрович...

— Ну, это ни Ненашева, ни быка неделю не будет,— сказала мать.

Она оказалась права только наполовину. К ночи Мишка пришел. Без Ненашева на телеге и без вожжей.

Сам Павел Константинович, как и предрекала мать, явился через неделю. Трезвый. И непривычно веселый, оживленный. Упредив упреки отца, объявил:

— Женился я, Петрович.

— Надолго ли, Павел Константинович? — не скрывая иронии, заметил отец.

Ненашев даже как будто слегка обиделся.

— Хорошая женьщина. Зря вы, Петрович.

— Дай бог. Ну, а не поживется, так ворочайся.

— Да теперь, кажись, основательно. Зову, Петрович, в гости.

— Вот немного управимся и пожалуем.

— А вы, Ова? Идемте к нам сейчас...

Он привел меня в крохотную избенку на самом берегу Кондомы. Насколько была убогой избенка, настолько просто и незатейливо было ее убранство, настолько она была уютной, сверкающей чистотой. Жена Павла Константино-

вича, тетя Тася, встретила меня как родного, не знала куда усадить, чем угостить, все что-то щебетала, расспрашивала, рассказывала.

Павел Константинович сразу, как пришли, стал хлопотать по хозяйству, что-то заносил в избу, что-то выносил, что-то тесал топором, что-то прибывал. Время от времени говорил мне серьезно, как взрослому:

— Вот так, значит, Ова...

Вскоре Ненашев выстроил новый дом. Чуть побольше прежнего, но веселый и аккуратный, как игрушка. Стал Павел Константинович слыть в селе толковым серьезным хозяином, а позже даже сделался заметной фигурой: его поставили заведующим пекарней, той самой, куда он возил из Малиновки уголь.

— Вот что значит разумная жена,— сделал вывод мой отец.

Не знаю, насколько он был прав, но тетя Тася ему понравилась с первой же встречи, и он сказал ей прямо и при Павле Константиновиче:

— Люди вы оба золотые, но держи его в узде, Настасья.

— Пола-а-адим,— ответила на это тетя Тася с тем спокойствием, когда человек верит в свои силы и возможности.— С Пашей можно ладить.

Мальчишки, зная незлобивый характер Ненашева, сочинили на него дразнилку и, как только он показывался во дворе пекарни, выкрикивали в несколько голосов:

— Ненаш-пекаш, пекарский боров! Ненаш-пекаш, пекарский боров!

— Из-лов-лю! — Павел Константинович делал вид, что сейчас погонится за озорниками, и все, как брызги, разлетались в разные стороны.

В дразнении Ненашева принимал участие и я — нехорошо, конечно, но нехорошо и откалываться от ватаги. И вот однажды мы хором:

— Ненаш-пекаш, пекарский боров!..

— Из-лов-лю! — топнул тяжелой, будто свинцовая, ногой Павел Константинович и не сделал вид, а в самом деле побежал за нами. В два прыжка догнал меня, хватил за шиворот. Я закрыл ладонями уши, съежился, готовясь к худому. Но Павел Константинович взял меня за руку выше локтя и повлек за собой. Он привел меня в свой кабинет, — если можно назвать кабинетом помещение, где кроме обшарпанного стола громоздился еще и здоровенный шлемообразный чан с дрожжами, — усадил на калеченый, без спинки, стул.

— Посидите, Ова. Я сейчас.

Через минуту он явился с половиной булки горячего, дымящегося хлеба и с алюминиевой чашкой — я даже собственным глазам не поверил! — повидла. Освободил угол стола от бумаг.

— Ешьте, Ова. Досыта ешьте.

А сам стал водить пальцем по бумажке и щелкать костяшками счетов.

Пацаны, видевшие, как Ненашев пленил меня, подстегиваемые любопытством узнать, что же он со мной делает, воровато заглядывали в окно, на лицах их было вначале сострадание ко мне, но когда рассмотрели, чем я занят, сострадание сменилось изумлением и откровенной завистью.

Съев все без остатка, что было предложено, я вытер ладонями губы и сказал «спасибо».

— Еще, Ова?

— Нет, — сказал я.

Как я уже рассказывал, больше всего на свете я любил в детстве повидло и мечтал наесться его вдоволь. И вот моя заветная мечта сбылась-таки.

— Тогда на здоровье, Ова. Сказывайте папке привет.

Заведующим пекарней Ненашев пробыл немного, с год или того меньше. Его не отпускали, но он настоял на своем — ушел.

— Нет, не могу я работать, Петрович, с имя, с женьшинами...

При странно-страстном тяготении к женщинам, видно, жило в нем и какое-то особое, присущее только ему чувство неприятия их, даже нетерпимости. Исключение, наверное, составляла одна тетя Тася. Может, она и была та единственная и счастливо встреченная? Во всяком случае, они взаимно друг друга почитали, на притеснение с той или другой стороны не было и намека. Павел Константинович выпивал когда хотел, где хотел и с кем хотел, но все было достойно, в рамках приличия, и никакой дурной славы за ним уже не водилось. Вполне довольная своей долей, тетя Тася то и дело говорила: «Мой Паша», «Паша сказал», «Мы с Пашей решили».

Павел Константинович оставался благодарен отцу всю жизнь. Часто приходил. Помогал. Рубил баню, менял подгнившие венцы дома. А когда колхоз забирал у отца сено, Павел Константинович делился своим. Вот и в ту весну, когда я обнаружил во дворе отца колхозных овец, я поехал на подводе к Ненашеву. Наложили мы с ним добрый воз доброго душистого сена, затащили бастрик, я поехал. Уже за воротами Ненашев остановил меня.

— Ова, отдайте-ка вот папке,— бросил на воз новые брезентовые вожжи.— Он знает.

Отец долго рассматривал вожжи, силился что-то вспомнить, но не мог. Пожал плечами.

— Не знаю. Чего это он...

Или Павел Константинович что-то перепутал, или отец что забыл. А может, подумалось мне сейчас, вожжи эти Ненашев передал взамен тех, без которых когда-то вернулся домой наш бык Мишка? Кто знает?..

Отец уже лежал в гробу. Кто шел с работы, ехал с поля, заходили проститься, посидеть по обычаю возле покойника, сдержанно и негромко поговорить о нем, о жизни и смерти вообще, повздыхать.

Кто-то, войдя, сообщил:

— Ненашев идет.

— Случаем, не пьяный? — спросили.

— Не-е, трезвый.

Сначала я поглядывал на дверь, ожидая увидеть Павла Константиновича, потом стал выглядывать в окно, потом стемнело, и я уже не ждал Ненашева сегодня. И вдруг — уже за полночь — вопль от калитки, тяжелые шаги по двору и пронзительный деревянный треск. Я выбежал в сени, увидел Ненашева и — не посчитайте за кощунство с моей стороны в такой скорбный для меня час — рассмеялся в душе. Ненашев стоял на крыльце на двух руках и одной ноге, другой не было — она напрочь проломилась одну доску и провалилась. Павел Константинович, как тогда, когда стоял на четвереньках со спущенными кальсонами, зывал:

— Пропадаю, Петрович!..

На этот раз руку помощи подал Ненашеву я.

Он был очень пьян. Никого и ничего не видя, протопал к гробу, грохнулся — изба вздрогнула — на колени.

— Друг ты мой!.. — всей массой своей навалился на гроб, табуретки под ним затрещали.

Павлу Константиновичу указали на это, он ничего не расслышал. Целовал руки отца, мочил их слезами и причитал:

— Вот эти... руки твои!.. Сколько раз... меня... Прости, Петрович, друг ты мой...

Он сделался невменяем. От вина и горя. И было несколько таких моментов, когда еще чуть-чуть — и гроб опрокинулся бы. Татьяна Федоровна, могущая быть очень терпеливой и выдержанной, не сдержалась, заметила строго:

— Павел Константинович, возьмите себя в руки.

Ненашев несколько пришел в себя, сказал вроде бы совсем трезво:

— Баню я рубил у Полякова. Как мне сказали — я сразу сюда. Как, Ова, хоронить-то будем? Могилка выкопа-

на? Рядом с Родионовной?.. — заплакал. — Нет вашего папки, Ова, нет моего друга.

Завтра Павел Константинович обещал непременно прийти пораньше. Я нисколько не сомневался, что он придет.

Однако завтра Ненашев не пришел. Совсем. Загулял...

Иные — я не говорю, злые языки — намекали, мол, тут и вся благодарность его: не пришел даже ком земли в могилу бросить. Другие — опять же не говорю, злые языки — намекали о другом. Мол, кто он такой, мой отец, Ненашеву, не брат, даже не сват. Правда не тех и не других. Правду сказал человек, хорошо знавший моего отца, Ненашева и их долголетние взаимоотношения:

— Узнал и загулял с горя. Загулял, забылся и забыл...

Слова эти были сказаны Иваном Ивановичем, мужем Татьяны Федоровны, вовсе не ради оправдания Павла Константиновича, а лишь ради истины.

...Последний раз я видел Ненашева несколько лет назад. Возле пивного ларька. Я посмотрел на него пристально, в упор, чтобы привлечь к себе его внимание, но он не заметил моего взгляда. Проявлять настойчивости я не стал: он был крепко выпивши — так что путевого разговора у нас все равно не получилось бы — и что-то втолковывал мужику в рабочей одежде. Я посмотрел на него уже на отдалении. Седой. Одряхлел заметно, ссутулился. И все-таки то был тот Ненашев, близкий мне и чем-то дорогой...

В последнее время, говорят, в Павле Константиновиче обнаружились свойства оракула: гадал по руке. Еще, говорят, Павел Константинович стал врачевать. И не какие-нибудь там, а женские болезни. Нет, все-таки что-то странное, если не сказать фатальное, было в его взаимоотношениях с «женьщинами». Наконец, говорят, что он полусерьезно предлагал назвать улицу, на которой он жил, его именем. «И будет улица наша Ненашева». Шутил, конечно. Тщеславие — совершенно чуждая ему черта.

В другой приезд в родное село узнал, что Павел Константинович умер. Было ему за восемьдесят, пожалуй.

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВСЕГДА

Мне кажется, что у того дня не было ни начала, ни конца. Я не помню ни утра, ни вечера, не помню, как ушли из дому, как пришли. Помню только: мы все идем и идем по улицам села... Без начала и конца...

Ярко-рыжие подсолнухи в огородах шуряются на яростно-жаркое солнце, а на дороге — накануне или, может, утром прошел дождь — сверкают лужи, возле них пляшут и устраивают потасовки воробьи.

Моя маленькая ладошка в большой и крепкой руке отца. В другой руке у него портфель, старый, уже потертый, с двумя блестящими замками. В портфеле папина — так я тогда говорил — работа: папки с бумагами, копирками, пузатая автоматическая ручка — большая в ту пору редкость, — «фимический» карандаш, печать в мешочке-задергунчике. На отце фиолетовый костюм, широкая, какие носят теперь только грузины, бобриковая кепка, начищенные ваксой ботинки. Это молодит его, придает ему необычный вид. Отец шагает по дощатому тротуару твердо и широко, я, едва поспевая за ним, шаркаю сандалями, хнычу:

— Па-ап, ну иди тише.

— Привыкай, сынок, ты уже большой.

— А скоро придем?

Отец не отвечает, он, наверное, думает про свою работу. Но вот он сворачивает к высокому крыльцу двухэтажного деревянного дома. Ступеньки высоковаты для меня, и отец, взяв меня под мышки, поднимает на крыльцо.

Сумрачный коридор. Двери налево, двери направо. Приятно пахнет конторой и дымом махорки. В комнате, куда мы вошли, много столов, за ними сидят тети, щелкают на счетах и на нас не обращают внимания. В самом дальнем углу дяденька с такими же, как у отца, коротко подстриженными усами. Он здоровается с отцом за руку, кивает на меня:

— Внук?

— Сын,— улыбается отец и мягко гладит меня по голове.— Поскребыш.

Тети отрываются от своих дел и с любопытством рассматривают меня, поскребыша, но совсем недолго и снова принимаются за работу. А отец и дяденька говорят про макулатуру, акты, фактуры. Я сижу на табуретке тут же, возле стола, и от нечего делать болтаю ногами. Одна тетенька, очень молодая еще, украдкой улыбается мне, подмигивает и опять щелкает на счетах. Мне кажется, что она в чем-то завидует нам с папой. И все другие тоже завидуют. Только другие не хотят выказать этого, щелкают и щелкают, а молодая не может скрыть своей зависти. И мне хорошо, мне нравится, что нам с папой завидуют...

И опять отец твердо и широко вышагивает по тротуару, держа меня за руку, а я шаркаю сандалями.

— Па-а-п, я обедать хочу.

— Обедать? Потерпи, сынок, Вот дойдем до...

— Петрович! — На дороге повозка, на ней молодой парень. Лицо его мне знакомо, он бывал у нас, но как его зовут, не помню.— Куда наострился? Садись; подвезу.

Отец протягивает парню руку.

— Разве что до почты.

— Садись до почты.

Отец сначала садит на телегу меня, потом садится сам.

— О! И ты, Вовка! Конь-то всех не увезет.

Я понимаю, что это парень шутит, но все равно он начинает мне не нравиться, и я отодвигаюсь от него ближе к отцу.

— Увезет! — говорю таким тоном, будто парень всего лишь кучер, а главный на телеге — мой папа...

От почты мы идем вверх по проулку, в сторону ветучастка. Я с восторгом догадываюсь: к Печниковым!

Только входим в калитку — из-под крыльца выныривает Шарик, залиvisto лает и бежит нам навстречу. С папой я не боюсь Шарика, машу на него и притопываю, Шарика

это злит, он оскаливается и норовит цапнуть меня за ногу, но отец успевает заслонить меня портфелем:

— Ну зачем ты его? Пришел в гости и дразнишь хозяина. Кому понравится.

Дедушка Денис Печников — сборщик утиля на дому, бабушка Ульяна — его помощница. Дедушка и отец разговаривают в горнице о своих делах, а бабушка, поудивлявшись, — «страсть, какой большой стал!», — поразглядывая мои новые вельветовые штаники, — «ты в них прямо пионер!», — справившись о здоровье моей матери, — «давеча на поясницу жалобилась», — наливает мне кружку молока, достает из духовки румяные пирожки.

— Угощайся, детонька, угощайся.

Я не жеманничаю, принимаюсь есть. А бабушка Ульяна, сняв с гвоздя сито, проворно выходит из дома. Вскоре она возвращается. В сите нежно-чистенькие морковки, бобовые стручки, фиолетовые головки мака.

— Это тебе на дорожку. Еще и семечек дам, — шебаршит чем-то за печкой, достает узелок, развязывает. — Тыквенные. И мамке от меня снесешь.

Оттуда же, из-за печки выходит черный, с белым галстучком кот. Его, как и дедушку, зовут Денисом. Денис широко и сладко зевает, потягивается, весь дрожа от напряжения, усаживается напротив меня на задние лапы и жмурится, будто подмигивает: «Ну, начинай, что ли».

Я болтаю ногой, Денис ловит лапками ремешок моей сандали.

— Ты, наедайся, детка, наедайся. Кот-то никуда не денется.

Но какая уж тут еда, если мы с Денисом старые приятели.

— Ой, бессовестный Дениска, гость-то проголодался, а ты... — журит бабушка Ульяна кота, а сама находит под лавкой колечко-берестяночку, привязанное к белой нитке, и подает мне...

Мы с отцом опять спускаемся к почте и идем по глав-

ной улице дальше. В оттопыренных карманах у меня семечки и бобы, в свободной руке букет из трех морковок и трех маковок.

Заходим в воротца вспомогательной школы. Под грибом сидят двое мальчишек, таких же, как я, может, чуть постарше. Оба остриженные наголо, лица обоих одутловатые и красные, будто после долгой беготни. У одного перекошенный рот, у другого слюнявые пухлые губы. Они с застенчивой очарованностью улыбаются нам. Придурки всегда улыбаются. Всех из вспомогательной школы пацаны называют придурками и не любят их. Если встретят одного-двух — поколотят. Некоторые громко по-кошачьи плачут, а некоторые как улыбались так и улыбаются, будто им вовсе не больно.

— А Нины Петровны нету,— говорят мальчишки и с откровенным любопытством смотрят на мой букет.

— А где она? — спрашивает отец.

Вместо ответа мальчишки говорят поочередно:

— А меня Мишей зовут.

— А меня Колей зовут.

— Молодцы,— хвалит их отец.— А его Вовой,— трогает меня за плечо.

Мальчишкам, похоже, не очень интересно, как меня зовут, они не могут отвести глаз от моего букета, даже пританцовывают, так им хочется отведать морковки и мака.

— Угости их, сынок.

Я капризно дергаю плечом и прячу букет за спину.

— Нет! Мне бабушка дала!

— Значит, тебе — дай, а ты — нет,— говорит с упреком отец.

Миша тем временем достает из кармана шишку. Обыкновенную сосновую, каких полно в бору.

— На,— протягивает мне.

— Зачем она мне? — я делаю шаг назад.

— Он, сынок, дает, что у него есть, а ты — скупой.

— Нет! — я не хочу быть скупым. После нелегкого ко-

лебания отделяю от букета одну морковку и, еще поколебавшись, одну маковку, протягиваю Мише. Коля завистливо смотрит то на Мишу, то на меня, говорит зачем-то:

— А нам в обед печенье давали. Вкусное.

Я одариваю морковкой и маковкой и его.

— Вот и молодец,— поощряет отец.

Тут в воротца заходит какая-то женщина, наверное, Нина Петровна, потому что отец поздоровался с ней за руку и, сказав мне: «Побудь здесь», уходит с ней в школу.

— А ко мне скоро мамка приедет,— сообщает Миша, хрумкая морковку.— Гостинцев привезет, если не буду плакать. Я не плачу,— и по щеке его покатила слеза.

— Я тоже не плачу,— со вздохом говорит Коля.

...Когда отец выходит из школы, я уже отдал Коле и Мише бобы, угостил семечками и принял от Миши шишку.

— Мы сегодня опять в бор пойдем. И я тоже найду тебе шишку,— обещает Коля.

— Приходи к нам еще,— приглашает Миша.

— Ну, подружился? — спрашивает отец.

Я утвердительно киваю, вкладываю свою ладонь в ладонь отца. За воротцами оглядываюсь на Колю и Мишу. Они машут мне на прощанье. Зачем мальчишки называют их придурками? Никакие они не придурки. Хорошие мальчишки. Только вот пострижены под лыску. Мы идем дальше.

— Пап, я устал.

— Рановато, сынок. Нам еще идти да идти. Привыкай...

И мы идем, идем, идем...

Таким вспоминается мне тот далекий-далекий летний день. Мне кажется, что и сейчас, сегодня, он не кончился. Он будет всегда. Мы всегда, пока я жив, будем идти. Отец и сын. Моя ладонь в крепкой, мудрой и доброй руке отца, и я чувствую себя уверенно на земле. Ты — мой отец, я — твой сын. Да святится имя твое, которое ты передал мне, и теперь оно — мое отчество.

Благодарю тебя. Благодарю, пока иду.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Перед дорогой	5
Глава 1. Вехи	6
Глава 2. Курай-свидетель	47
Глава 3. Первее первого	79
Глава 4. До скончания рода человеческого	115
Глава 5. Некто во множестве лиц	162
День, который будет всегда	202

Куропатов В. Ф.

К93 Имя отчее: Повесть.— Кемерово: Кн. изд-во, 1982.— 208 с., ил.

В пер.: 75 к.

Повествование, густо населенное людьми, пронизывает одна главная, важная автору мысль: истоки духовности народа, русского национального характера — в трудовых традициях крестьянской семьи. Образ отца предстает в книге как носитель трудовых, а значит, и нравственных начал.

К 70302—34 18—82 4702010200
М145(03)—82

Р2

Владимир Федорович Куропатов

Имя отчее

Повесть

Редактор **Л. В. Глебова**
Художник **А. С. Ротовский**
Художественный редактор **В. П. Кравчук**
Технический редактор **Г. Н. Манохина**
Корректор **В. А. Лузина**

ИБ № 594

Сдано в набор 29.04.82. Подписано к печати 21.07.82. ОП 07488. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 10,67. Уч.-изд. л. 9,74. Тираж 15 000 экз. Заказ № 8071. Цена 75 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059. г. Кемерово ул. Ноградская, 5